



ИРИНА ЕФИМОВА

РИСУНОК
С УМЕНЬШЕНИЕМ
НА ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

Ирина Ефимова

**Рисунок с уменьшением
на тридцать лет (сборник)**

«Пробел-2000»

2011

УДК 821.161.1-1 Ефимова
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-5

Ефимова И. А.

Рисунок с уменьшением на тридцать лет (сборник) /
И. А. Ефимова — «Пробел-2000», 2011

ISBN 978-5-98604-264-0

Ирина Ефимова – автор нескольких сборников стихов и прозы, публиковалась в периодических изданиях. В данной книге представлено «Избранное» – повесть-хроника, рассказы, поэмы и переводы с немецкого языка сонетов Р.-М.Рильке.

УДК 821.161.1-1 Ефимова
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-5

ISBN 978-5-98604-264-0

© Ефимова И. А., 2011
© Пробел-2000, 2011

Содержание

От автора	6
Свет в подвале	7
Пролог	7
Часть первая	10
I	10
II	11
III	20
IV	23
V	28
Часть вторая	34
I	34
II	35
III	40
IV	42
V	44
Часть третья	45
I	45
II	47
Конец ознакомительного фрагмента.	51



Ирина Александровна Ефимова
Рисунок с уменьшением на тридцать лет
Избранное

© Ефимова Е.А., 2011

* * *

От автора

Я посвящаю эту книгу памяти моей школьной подруги Татьяны, филолога и журналиста, так неожиданно и так несвоевременно ушедшей из жизни в 2008 году. Страстная любительница жизни, человек с живейшим интересом ко всему, что в ней происходит, она любезно настаивала на моем «Избранном» и, более того, неоднократно повторяла, что напишет предисловие и знает, как именно это сделает.

Мне неизвестно, *как именно* она хотела это сделать, – я не уточняла, потому что не сомневалась, что предисловие будет написано наилучшим образом...

Но судьба почему-то захотела, чтобы предисловие написала я сама...

Основная причина, по которой я решила собрать «Избранное», – это желание представить в новой редакции хронике «Свет в подвале» – важное для меня, создававшееся в течение нескольких лет произведение. Мое тайное желание – чтобы «Свет в подвале» читали разные люди; потому что скромно надеюсь, что на фоне странного сюжета о *Вечной Любви* и ее родной сестре *Невстрече* присутствует навеки ушедшая в анналы истории эпоха.

Моя любовь к старой Москве, к всепоглощающей Любви (да, любовь к *Любви!*), мое ощущение Тщеты, моя скорбь по поводу несовершенства Жизни – все это я пыталась, как могла, соединить в «Хронике».

Финальные части «Хроники» писались в начале 80-х – вступление человечества в новое тысячелетие казалось далеким будущим. Теперь, когда пролетело первое десятилетие 21 века, мои наивные *придумки* почти тридцатилетней давности, касающиеся грядущей жизни, не актуальны, но, редактируя «Свет в подвале» для нового издания (старое было небрежно выполнено, с большим количеством досадных опечаток, и только замечательная графика Марии Шалито его несомненно украшала), я не стала убирать утопические моменты, придуманные мною для якобы далекого будущего. Надеюсь, что читатель мне простит вскользь обозначенные приметы будущей (тогда) жизни, тем более что кое в чем я оказалась прорицательницей: помчались скоростные поезда, явилось такое изобилие продуктов, которое в те времена невозможно было в *сказке пером описать*, и человек, поселившийся в квартире № 13, оказался точно таким, каким я его придумала.

Кроме «Света в подвале», я поместила в «Избранное» рассказы – новые и те из прежних, которые мне кажутся более удачными, стихи и поэмы разных лет, а также переводы с немецкого языка сонетов Р.-М. Рильке

Заранее благодарю читателей, благосклонных и не очень, которые не пожалеют времени на прочтение книги.

И. Ефимова

Свет в подвале Хроника одного дома

Пролог

Как медленно тянется время... Девочка бредёт за огромный четырёхэтажный дом, в таинственный сырой закоулок, где со вчерашнего дня хранится закопанный в землю «секретик». Мимоходом переглядывается с сидящим на крыше сарая голубем и в очередной раз мечтает прыгнуть с этой крыши с зонтиком (в конце концов однажды прыгнет, чуть не перекусив себе язык при столкновении коленок с подбородком). Завернув за дом, отыскивает маленький земляной холм, садится возле него на корточки, отбрасывает за спину надоедливые косы, сгребает в сторону пыльную землю и пальцами протирает стекло, под которым лежит её сокровище; долго, заворожённо смотрит на невидимую миру красоту...

Она только вчера вернулась в Москву из пионерского лагеря, и сразу такая удача: кто-то выбросил на помойку лишь немного разбитую с краю старинную тарелку – сирень, позолота, нежная зелень листочков. А давно-давно, ещё до поездки в лагерь, она в ящичке письменного стола припрятала осколок от чашки, найденный в чужом дворе: внутри золотого кольца – прехорошенькая женская головка, розовые щёки, голубые глаза, пышные светлые волосы, белая шея, розовое платье с буфами на плечах. Линия скола прошла как нельзя удачней – у поднятых над затылком волос, не задев рисунка. Вчера после обеда она всё и сделала: куском кирпича разбила тарелку на мелкие кусочки, выкопала ямку и очень красиво уложила их вокруг женской головки; стенки ямки выстелила серебряными бумажками от шоколадок, которые приносила ей приходившая иногда к маме тетя Зина, и осколками зеркала из маминей сумки, измельчённого тем же кирпичом; в зеркальных стенках отражались и умножались дивные рисунки – любоваться этим можно без конца.

Насмотревшись на «секретик», девочка снова засыпает стекло землёй и формирует холмик, чтобы в следующий раз без труда разыскать тайник. Выходя из тенистого уголка, она как-то по-новому ощущает жизнь. Жаль только, что показать никому...

Девочка идёт к подъезду. Лицо со вздёрнутым носиком и взлетевшими бровками похоже на мордочку Бэмби. На спине лежат тёмные косы со спиральками на концах. Колени под коротким платьицем серо-коричневые от пыли и ссадин. Все в отъезде: кто в деревне, кто в пионерском лагере, в городе почти никого нет. Она присаживается у среднего подвального окна и всматривается в плотно задернутые коричневые шторы, как бы вызывая из глубины подземной комнаты желанную подругу. Да нет, конечно, Ленка в лагере. Ах, если б она была здесь... Только Оля с первого этажа здесь, но с ней неинтересно, она даже в «ляги» толком играть не умеет – поднимет ногу и визжит, если мяч не попадает в «воротики». Ой, про Олю лучше вообще не думать: невозможно забыть, что в прошлом году её маленького братика задавил пятивишийся задом грузовик – прямо у подъезда. Девочка встряхивает головой, чтобы отогнать ужасное воспоминание... Ну ладно, она, так и быть, покажет Оле «секретик», если та поклянётся, что никому не скажет.

Папа появится, когда будет уже темно, потому что после работы пойдёт в больницу – у мамы опять обострение. Тетя Маруся даст что-нибудь поесть – её папа попросил. Хорошая соседка тетя Маруся, но почему она всегда говорит «шаш-нацатъ», неужели трудно сказать «шест-над-цатъ»?

Вздохнув, девочка входит в подъезд четырехэтажного дома, распугав сидящих в темноте кошек, и не спеша поднимается по лестнице. Навстречу, громко напевая, бежит седой жизнерадостный сосед, «обрусевший немец» – так все говорят... Девочка здоровается.

– Здравствуй, деточка, музыкой занимаешься?

– Сейчас каникулы.

– Ну, а к инструменту подходишь?

– Я была в лагере, только вчера приехала.

– Учись, деточка, учись, будешь мне аккомпанировать.

Старик убегает... Вчера было воскресенье. Папа приехал в лагерь проведать её. Она, увидев его, расплакалась – слёзы брызнули двумя фонтанами, как у царевны Несмеяны в кукольном театре. Папа – большой, родной, любимый – взял её на руки, вытер ей огромным носовым платком глаза и тревожно спросил:

– Ты что, Натюля, что случилось?

– Меня все называют макакой. И ещё меня Валерка избил.

– Как избил? Какой Валерка? За что?

– За то, что я в него влюбилась.

– А как же он об этом узнал? И почему за это надо бить?

– Я всем рассказала, что влюбилась, а он позвал меня в пионерскую комнату и надавал по щекам.

– Покажи мне его, я хочу с ним поговорить.

– Не надо, папочка, я хочу уехать с тобой домой. – Она снова заплакала...

Приехав, она ещё успела вчера погулять по опустевшему двору, найти возле переполненной помойки ценный осколок и оформить «секретик». Вечером, устав от тяжёлого дня, сладко засыпала в своей постели, а с висящего над кроватью коврика к ней снова бежали, взявшись за руки, три весёлые девочки – Таня, Лена и Ира («апликация» – говорит мама), приветствуя подружку после долгой разлуки. В другой комнате папа разговаривал с кем-то по телефону, и сквозь дрему она слушала его рассказ о том, как она плакала и как он не мог ее не забрать... А утром, уходя на работу, папа сказал, что в следующий выходной отвезёт её к Сикорским – там дяди-борина военная часть, лес и речка, и там она будет до конца летних каникул; а потом выйдет из больницы мама, и она, Наташа, пойдёт в третий класс и снова будет заниматься музыкой...

Девочка добирается до четвёртого этажа; за несколько ступенек до верхней площадки просовывает худые руки между стойками перил и хватается за металлическую перекладину, переброшенную между лестничными маршами; некоторое время держится за неё, глядя вниз, но повиснуть не решается; доходит до двери квартиры и протягивает руку к звонку – перед лагерем чуть не доставала, теперь дотянулась. У входа на чердак сидит лохматая кошка с жёлтыми глазами...

... Каждый раз, стоя у двери, девочка вспоминает, как, вернувшись из эвакуации, они с мамой впервые вошли в эту квартиру. Папа, приехавший в Москву почти на год раньше, получил здесь целых две комнаты, что считалось большой удачей. Мама же мечтала о той единственной, в которой жила до войны и где была здорова и счастлива. Но комната за время их отсутствия почему-то сплыла. Была и – сплыла. Папа привёз их сюда с вокзала, открыл ключом дверь. Они поздоровались с толстой тётёй, стоявшей подбоченясь в дверном проёме кухни, и вошли сначала в большую, потом в маленькую комнату, где стояла ничем не покрытая железная кровать. Мама села на эту кровать, закрыла лицо руками и заплакала. Девочка тоже заплакала – никогда не забудет папиного обиженного, расстроенного лица. И это после такой разлуки...

И ещё одно воспоминание. Вскоре после того, как они расставили мебель и стали жить-поживать, однажды днём, когда папа, тётя Маруся и дядя Герасим были на работе, к ним

явился пьяный Баранов – они были уже наслышаны, что в этих, теперь уже их комнатах раньше незаконно жили Барановы, – и стал кричать, чтобы они убирались из его комнат, грозил убить, задушить...

...Девочка звонит.

– А-а, Наташк, заходи, щас дам тебе поисть.

Тётя Маруся не пошла сегодня на работу: у неё флюс. Девочка моет руки, чуть прикасаясь к струе воды, потом, немного стесняясь, входит в соседскую комнату. Там у них ужасно тесно и пахнет нафталином. Тётя Маруся ставит перед ней тарелку с горячей картошкой. Девочка быстро её уминает, затем маленькими глотками, смакуя, пьет сладкое, густое, похожее на растаявшее довоенное мороженое (так говорили те, кто помнил его вкус) белое суфле, которое продают во дворе «серого» магазина и за которым надо стоять с бидончиком в длинной очереди.

– Наташк, пойдёшь к мамке-то в больницу?

– Сегодня нет... Наверное, завтра...

– А чего из лагеря раньше приехала?

– Меня Валерка избил.

– За что?

– Потому что я в него влюбилась.

– А чегой-то ты в него влюбилась? Уж больно хорош? – тётя Маруся недоверчиво улыбается. Девочка вспоминает круглое Валерино лицо с множеством крупных веснушек, бритую голову с чуть проросшими рыжими волосками, недовольный взгляд серых глаз и неожиданную злость, с которой он принялся в забитой столами пионерской комнате колошиматить её по лицу; вздыхает и говорит задумчиво:

– Он красивый...

Часть первая Журавль в небе

«В нем была маленькая дерзость, – и не было великих дерзновений. Он только верил в Христа, в Антихриста, в свою любовь, в ее равнодушие, – он только верил! Он только искал истины, и не мог творить, – ни бога из небытия вызвать, ни дьявола из диалектических схем, ни побеждающей любви из случайных волнений, ни побеждающей ненависти из упрямых «нет»

Ф. Сологуб «Творимая легенда»

I

«Это было давно. Я не помню, когда это было. Пронеслись как виденья и канули в вечность года. Это было дав но, я не помню, когда это было. Может быть – никогда»...

Эти строки мне прочла наизусть в дачном саду красивая седая дама. Мне было пятнадцать, ей – пятьдесят. Она декламировала спокойно, без надрыва, вонзая иглу в вышивание, заключённое в пальцы; я же сидела рядом и, глядя на высокую, чуть покачивающуюся сосну, тихо внимала таким печальным, таким щемящим, таким *понятым* словам. Понятым? Почему? Ведь они относились к чьей-то прошедшей жизни, тогда как моя только неторопливо начиналась. Но я эти строки поняла и запомнила на всю жизнь.

С тех пор прошло много-много лет. Теперь, вспоминая так и оставшиеся для меня безымянными стихи, я знаю, что в этой жизни ничто не бывает так давно, чтобы не помнить, когда это было. Что от пятнадцати до пятидесяти – один шаг. Я помню всю жизнь не только по годам – по месяцам, дням недели, часам суток, закатам, рассветам, сумеркам...

Итак, это было давно. Мы носились по каменистым дворам, наполненным старухами и детьми; на каждых пяти квадратных метрах жилой площади проживало три-четыре человека, в каждом подвале – три-четыре семейства. Наши мячи постоянно закатывались в правый, нежилой подвал – преисподнюю, заполненную водой, углём и тьмой. Коричневые корки ссадин и тёмные пятна синяков неизменными аппликациями украшали наши локти и колени. Мы знали всё обо всех: многосложная человеческая комедия игралась на небольшом пяточке двора. Для нас не было секретом, что толстая безмужняя Зоя родила голубоглазого Алёшку с головой в виде кабачка от мордастого золотозубого Тольки, жившего тут же, в одноэтажной постройке, с законной женой и ребёнком; что в младшую Зоину сестру красавицу Лёлю влюблён слушатель военной академии Владимир из квартиры визави с моей; он проходил по двору, глядя в землю, и лишь в последний миг, перед исчезновением в спасительной тьме подъезда, вскидывал на миг глаза на торчавшую из окна первого этажа возлюбленную; как он ни старался, этот отчаянный взгляд не оставался незамеченным – мы хихикали, Лёлька ехидно улыбалась, – было совершенно ясно, что она его не любит. Когда я была маленькая, Лёлька дразнила меня «у-у, какие глазища, как плошки», надолго поселив во мне уверенность, что большие глаза – крупный недостаток...

Да... Мы знали всё обо всех, но не обо всём: живя в самом центре Москвы, не ведали, что вокруг – изысканные фасады, старинные ворота, уникальные ограды, атланты и кариатиды, средневековые палаты и исторические пруды. Все эти шедевры были для нас привычной окружающей средой, мы носились мимо них вместе с нашими озабоченными тяжелой послевоенной жизнью мамами и папами (теми, что остались в живых после войны), ничего не зная, ничего не понимая. Правда, всё было запущено, обшарпано, запылено, разрушено. Правда, ещё не

родились на свет – для сравнения – новые спальные районы с домами-близнецами без «излишеств», расчерченными по фасадам чёрными швами, с удобствами в виде замызганных балконов. Зелени было крайне мало – зелёным было только бульварное кольцо, внутри которого, в замкнутых дворах, протекало наше детство.

Раз в десятилетие, перебирая хранящиеся в старом дерматиновом чемоданчике с оторванной ручкой пахнущие вечностью бумаги, я ныряю в глубь времён, в том числе тех, что были задолго до меня. И, как в волшебном райке, возникает картинка: покатый переулочек старой Москвы; внизу, у обочины бульварной мостовой, оживлённая компания: Антон Чехов теревит цепочку пенсне; Фёдор Тютчев бархатным баритоном рассказывает про заграничную жизнь; похожий на Тараса Бульбу дядя Гиляй хохочет так, что дрожат доходные дома на Солянке; Максим Горький, ссутулясь и опершись на трость, улыбается в усы, время от времени утирает слезу; молча, отвернувшись от друзей, сверкает огненными глазами Исаак Левитан; незаметно дирижирует рождающейся светомузыкой Александр Скрябин. В центре внимания всей компании – невысокий светловолосый отрок в узком чёрном костюмчике, с гибким станом, ослепительной улыбкой, у него синие глаза, кокетливый взгляд, обворожительный голос...

Все персонажи так далеки от меня, что я пренебрегаю временной дистанцией между ними и свожу их в одну компанию; так звёзды галактики, где бы они на самом деле ни находились, видятся принадлежащими единому небосводу. Но не случайно именно этих людей собираю я в своём покатоном переулочке: жизнь каждого из них так или иначе была связана с этим уголком земли...

...События, ради которых начато повествование, берут своё начало с того момента, когда совсем недавно, только что мы оставили в прошлом мячи, прыгалки и здоровый интерес к взрослой жизни, потому что сами незаметно вступали в эту самую взрослую жизнь.

II

«Ты начинаешь с вопросов, я попробую сделать то же. Самый главный вопрос – в сущности, причина, побудившая меня написать, – следующий: нельзя ли быть несколько серьёзнее и чуточку объективнее? Ведь всё, что ты написала, можно принять за бред истерички в экстазе. К чему тебе эта «приятная» особенность, ума не приложу. Дело, конечно, твоё, но, как говорится, со стороны виднее. Даже не считая меня авторитетом и «узнав» меня, ты все же могла бы прислушаться к моим словам. Не подумай, впрочем, что я слишком заинтересован в этом... Теперь перейдём к основному. Какова цель твоего послания? К чему столько мелодраматических всплесков? Чем объяснить неверную трактовку «истории с фото»? Кстати, могу объяснить, как это вышло. Оно было не у меня, мне его отдали двадцатого, я положил его в карман, на вечер случайно обнаружил и за ненадобностью решил отдать владельцу. Только и всего... Пока вроде всё. Вопросы я задавал не для того, чтобы получить ответы, а лишь для тебя. Относительно «нравчивости» не буду говорить ничего, так как смею думать, что всё это ерунда, не стоящая внимания. Советую, однако, не «узнавать» людей так быстро и в такой степени, чтобы затрагивать их подобными глупостями. Вот, пожалуйста, единственное, что меня неприятно удивило – я не вундеркинд, не яркий индивидуум и мало думаю о том, кому я нравлюсь и кому нет. Делаю это разве в тех случаях, когда человек меня интересует, чего, кажется, ты не можешь отнести на свой счёт. До свидания. Ответа можешь не писать.

Елманов. Прочитав, разорви, пожалуйста».

Я не разорвала... С тех пор прошло...

...Был объявлен поход в театр имени Пушкина. Пьеса называлась «Из искры». Автор – Шалва Дадиани (программка до сих пор лежит в том самом дерматиновом чемоданчике). Постановка Ванина. Чирков, Чукаев, Названов... Ленин, Сталин, грузчик, разорившийся

князь, рабочие завода Ротшильда, прочие действующие лица. Содержание, конечно, забыто, но нетрудно догадаться, *что* именно разгорелось из искры. Зато помнится: низкий балкон над головами, яркий свет перед началом спектакля, мягкие красные кресла, невыразимый гвалт – нас, возбуждённых школьников, разлучённых по половому признаку учащихся отдельных школ, свели на этом спектакле – это ли не праздник? Гул, смех, визги... Мальчишки, мальчишки, мальч...

И вдруг – обвал сердца, толчок землетрясения, вспышка молнии, между ударами пульса – ни полсекунды не втиснуть... Как я поняла, что это – он? Видела прежде? Догадалась, потому что там, на втором ярусе, он стоял рядом с подружкой Тонькой, недавно пообещавшей познакомиться меня с неким соседом по дому (каков психологизм – сразу попала в точку!)? Не знаю. Не помню. Знаю только, что эта чарующая улыбка отравленным копьём пронзила мою готовую быть пронзённой душу, сбив её на много лет с истинного пути (*что есть истина?*). Журавля в небе я по неопытности приняла за журавля, спустившегося с неба прямо на мою протянутую ладонь, и с этого началась путаница всей моей жизни...

Мы познакомились. И понеслись дни другого смысла, другого цвета, другого содержания, другой формы, другого дождя, другого солнца... Всякий день, когда у меня не было занятий в музыкальной школе, мы шли с Тонькой в её подвал, садились на стоявший под окном сундук и, делая вид, что никого не ждём, разговаривали, поглядывая снизу вверх на ноги прохожих. Наконец, там появлялся он – не мог не появиться, потому что жил в подъезде, вход в который был рядом с окном, – приседал, всматриваясь со света в полумрак подвальной комнаты, убеждался, что его ждут, бежал домой «пожрать», потом спускался и усаживался напротив нас на табуретку. По комнате бегали Тонькины малолетние братья, иногда с кухни заходила усталая мать с миской в руке. Отца дома почти никогда не было.

Беседы, длившиеся часами, казались краткими, пустыми – не удовлетворяли. Говорил больше он: с изысканными интонациями рассказывал о банальных школьных курьезах, шалостях и проделках, заливался смехом, сверкая белыми, как жемчуг, зубами. Мы с Тонькой тоже смеялись, дополняя беседы своими женскими историями. Но всё было не то, не то, не то... хотелось чего-то более значительного, относящегося только к двум персонажам...

Иступлённо любуясь фонтаном легкомысленных рассказней того, кто с каждым днем всё больше вторгался в сердце, я вдруг улавливала несколько брызг, которые с некоторой натяжкой можно было принять за знак. И носилась с этим знаком круглыми сутками, любовалась им вечером в постели, утром и днём – в школе, после полудня – в музыкальном классе. Потом бежала бульваром домой в надежде, что завтра, когда я буду относительно свободна, состоится закрепление достигнутых рубежей (а вдруг и дальнейшее продвижение?).

Но наступало завтра, мы усаживались на сундуке и табуретке, и тут оказывалось, что позавчерашние брызги – очередной мираж; всё начиналось с нулевой отметки: снова жаждала обмануться, снова обманывалась, принимая одну из блистательных улыбок возлюбленного за его личный дар мне. И так бесконечно. Где-то я переборщила, потеряла чувство меры, да и можно ли этого требовать от безмерно влюблённой? Это уж потом, во взрослой жизни, как только в отношении вкрадывался едва заметный диссонанс, я хватала свою любовь вместе с пальто и бежала домой биться головой о стену. В отрочестве этого ещё не умела. И, всячески давая понять, что жду знака, сидела, сидела... Обижалась, волновалась – то-то для них была потеха! А иногда вдруг взвивалось поруганное самолюбие: «Думаешь, я влюблена? Я – в тебя? Из-за тебя тут сижу? Ты тут ни при чём, в этом доме, в этом подвале живёт моя подружка». А подружка хохотала и перемигивалась с героем, что мне, конечно, поначалу было невдомёк...

В течение многих лет моей последующей жизни случайный запах сундука («сундук» – образ собирательный) мгновенно воссоздавал картинку наших посиделок в Тонькином подвале, в крепком настое запахов изъеденной временем этажерки, застиранных кружевных подзоров, нафталина, замусоленных, протёртых до внутренностей валиков дивана, топящегося по

соседству котла; воскрешал ощущение романтического, никогда не унимавшегося возбуждения...

Теперь, спустя целую жизнь, трудно описать события-несобытия, происходившие-не происходившие не то что каждый день – каждый час, каждую секунду и, в конце концов, кирпичик к кирпичику, сложившие громадное здание безответной, не могущей быть никакой иной, любви.

Что это были за несобытия? Танцевальные вечера, на которых он меня ни разу ни на один танец не пригласил; встречи в нашем общем школьном переулке после уроков, когда он в лучшем случае удостаивал меня трёхминутной беседой, в среднем – говорил «здравствуй» и проходил мимо, в плохом – не замечал, в худшем – отпускал колкие реплики в присутствии мальчишек, сопровождавших его, и девчонок, сопровождавших меня. Ещё был вариант встреч в одном дворе, о котором скажу позже, – эти «свидания» чаще всего были неожиданными, а настроения героя – самыми разнообразными.

По всему району сновали озабоченные любовными интригами героини и герои – ученицы и ученики двух соседних школ. Параллельно с моим развивалось ещё несколько романов, за которыми все пристально следили. Особенно был любим пяточок на углу бульвара и Хохловского переулка, где почти всегда можно было увидеть стоявших в кружок знакомых. Иногда, возвращаясь из музыкальной школы, я попадала под обстрел насмешников, среди которых нередко находился мой возлюбленный. И тогда шёлковый шнурок нотной папки с нетленными творениями Баха, Чайковского и Черни жёг мне ладонь, и я спешила удалиться из поля зрения обидчиков.

Между тем Тонька открыла в себе недюжинный талант... интриганки и не замедлила им воспользоваться. Благо, жизнь подкинула ей меня, глупую влюблённую, не имевшую представления о «двойном дне». Масштаб её деятельности я смогла оценить лишь спустя годы. Руководили ею не злость, не зависть – только чистое вдохновение. Это было истинное творчество! Она носилась от меня к нему, от него ко мне с поручениями, которые ни я, ни он ей не давали, во мне разжигая пагубную страсть, в нём усугубляя насмешливое к ней отношение.

Несмотря на чрезвычайную занятость – училась в двух школах, дома готовила уроки для обеих – я разработала сложную систему отлавливания героя для «случайных» встреч. Чем оборачивалась для меня каждая такая встреча, особенно когда она была действительно случайной, трудно выразить: провал сквозь землю, спазм горла, сужение всех сосудов разом, дрожанье рук и ног, отлив крови, прилив глупости...

На Покровском бульваре опали, как и положено, последние жёлтые листья. На берегах любимых «Чисток» (так мы называли сокращённо Чистые пруды) стояла непролазная грязь. Наступило тоскливое межсезонье. Порывы жестокого ветра бросали в лицо пригоршни ледяного дождя, окоченевали руки и ноги, не ворочался язык.

Тоскливо было трижды: от осени, от холода, от равнодушия судьбы к страданиям человека.

Не понимала я тогда, что судьба не всеильна, что хочу невозможного: времени, не делимого на часы, сутки и годы; пространства, не расчленённого на земные административные единицы; вечной любви; жизни без болезней и смерти.

Октябрь, ноябрь, декабрь, январь... Тогда это было целой эпохой – четыре месяца, которые теперь пролетают мгновенно. За это время я успела столько раз взлететь в высь поднебесную и столько раз разбиться о землю, что дух вышел из меня вон и я совершенно не знала, как жить. Не желая мириться с тем, что происходит, а точнее, с тем, что ничего не происходит, я носилась по району, звонила по всем телефонам – ему, всем, снова ему, снова всем, обсуждая всё со всеми. И снова хорохорилась в телефонную трубку: «Неужели ты думаешь, что интересуешь меня? Или – что жить без тебя не могу? Ха-ха-ха!»

Вскоре, с ужасом осознав, что все без исключения в обеих школах знают о моей безответной любви, я почувствовала себя преступницей, разгласившей высокую тайну собственного сердца...

Я сидела на подоконнике своей маленькой комнаты и мрачно смотрела на покрытую снегом крышу трёхэтажного корпуса, на снующих по двору людей – сколько же их обитало в нашем дворе, что когда-то примыкал к Хитрову рынку! И хоть рынка давно не было, двор кипел, как базар. По углам происходили сходки мужиков. Они что-то запальчиво обсуждали, ругались, махали руками, дрались. Они же по всем классическим канонам гоняли голубей. Голуби садились на наши окна, но согнать их грубым жестом было рискованно: всевидящее око голубятника нам бы этого не простило. Время от времени кто-нибудь из мужиков исчезал, а через несколько лет появлялся снова («амнистия» – судачили). Самым знаменитым был горбун. Его, маленького и хилого, все боялись, особенно его высокая и сильная супруга. Другой яркой достопримечательностью была тётя Груша. Она жила в одном подвале с моей подругой Леной, наперсницей моих страданий. Рассказывали, что в незапамятные времена тётя Груша была первой девкой на Хитровом рынке. Да и будучи старой, она всегда была весела (навеселе), особенно на Пасху – прямо перед подъездом, на радость всем, пела и приплясывала. Её припадочная дочь Клавдия, с усиками над верхней губой, толстая, неподвижная, с замурованной в изогнутый ортопедический ботинок левой ногой, вечно стояла неподвижной скульптурой на крышке канализационного колодца, в белой с чёрными горошками косынке летом и сером деревенском платке зимой. Однажды она упала, изо рта текла пена. В другой раз от такого же припадка Клавдия умерла. Вскоре умерла и тётя Груша. По всему району собирали деньги на её похороны. Проводили как народного героя...

Итак, в конце декабря я очутилась в тупике. За окном красиво падал снег. На свете счастья не было (в покое я ещё не нуждалась, а что такое воля, и теперь не знаю). В воскресенье, когда родители уходили в гости, я слонялась по большой комнате (она была немного больше моей маленькой) и смотрела в окно на тяжёлое красное солнце, закатывающееся за колокольню Ивана Великого. Или усаживалась у чёрной тарелки громкоговорителя и внимала «песням советских композиторов». *«И было три свидетеля – река голубоглазая, березонька пушистая да звонкий соловей. А-а-а»...* *«И все сомнения развеются, когда подарить ей букет. И можешь ты тогда надеяться на положительный ответ, на положительный ответ»...* *«Голубые глаза хороши, только мне полюбилися карие»* («Наоборот», – всегда мысленно произносила я). Как грели душу эти незамысловатые песни, как поддерживали надежду на счастье, как окрашивали мир в тёплые тона! Сейчас, когда оттуда, из нашего древнего мира, забредает в сегодняшнюю, вроде бы усложнившуюся (мириады новых тонов), но в чём-то и упростившуюся (полутонам нет времени и места) жизнь какая-то из этих давно списанных мелодий, полумёртвая душа – кто бы мог подумать, что такое возможно? – на миг воскресает и что-то похожее на бывшее ликованье, былую веру шевелится в ней. Только слёзы нынешние, неблагоприятные...

Я совсем забросила музыку, трепалась по телефону, слонялась по улицам, убивала время (почему за это ужасное убийство не судят?). Я столько раз всматривалась в его двор, что две арки – одна в другой – навечно отпечатались в моих глазах.

В январский день редкой, неправдоподобной красоты я брела из школы, никуда не спеша. На домах висели траурные флаги. Это был день смерти Ленина. В школе прошел «траурный костёр» – посреди актового зала под еловым лапником зажигали красную электрическую лампочку, и дети с декламаторским даром читали стихи. *«И прежде чем укрыть в могиле навеки от живых людей, в Колонном зале положили его на пять ночей и дней...»* Крупными театральными хлопьями со всего огромного неба на всю огромную землю падал снег. Из-за снежного занавеса медленно вышел он, мягко улыбнулся, кивнул в знак приветствия.

Я пришла домой, положила на стол новую синюю тетрадку, толстую, с красным корешком, крупно написала на титульном листе: «Личный дневник Наташи М.» и сделала первую запись...

Валентин пылал страстью к своему классному руководителю, учителю литературы, стройному человеку по имени Геннадий Николаевич. Он был лысоват, удлинённое лицо отличалось сдержанностью выражения, приятностью и благородством. Сколько ему было тогда лет, трудно сказать, потому что пятнадцатилетнему отроку и тридцатипятилетние, и пятидесятилетние равно кажутся стариками. Валентин «бегал» за учителем, как мы в пятом классе преследовали нашу учительницу литературы: ждали, встречали, провожали, ревновали, сутками пережёвывали, как посмотрела, кому улыбнулась, кого предпочла.

Геннадий Николаевич жил примерно посередине между мной и Валентином, в переулке, бегущем снизу вверх к бульвару. Вот тут я иногда и заставала своего героя: он впархивал в заветный двор, как балетный персонаж, ищущий свою Одетту, и проверял, горит ли свет в окошке учителя.

Между тем всполошились мои родители: пропадают невесты где, невесты с кем; связалась с «уличными» девчонками, «уличными» мальчишками. Не притон ли какой... Стали вводить репрессии. За приход домой после девяти вечера назначался домашний арест (дозволялся, естественно, выход в школу, одну и другую, но больше никуда). Правда, с правом посещения «арестантки», посему от посетительниц отбоя не было: многим хотелось лишний раз познакомиться с подробностями моей «истории». Приговор действовал трое суток, независимо от тяжести «преступления».

Поползли слухи. Вот уже на уроке литературы Анна Ивановна не преминула раздражённо заметить: «Занята не тем, чем надо». Одна очень положительная одноклассница, отличница, не переросшая привычку влюбляться в учительниц и, видимо, только такую любовь считавшая правомерной, презрительно бросила в мой адрес: «мальчишница».

Самыми вдохновенными моментами жизни были совместные с мужской школой вечера – «балы» с концертами самодеятельности, «почтой», танцами, переглядками. Незадолго до одного из таких вечеров Тонька изобрела очередную интрижку: объявила, что я должна подарить Валентину мою фотографию; убеждала, что очень, мол, хочет он иметь её у себя, но стесняется попросить. Несмотря на всю свою феноменальную слепоту, я немного посомневалась, но так хотелось верить! И в конце концов я вручила посреднице маленькое фото – такое же, как было вклеено в комсомольский билет...

Я ждала каждого вечера, как Наташа Ростова первого бала (собственно, в моём случае только ожидание и стоило чего-то). И вот на февральском вечере, не прерывая танца – разумеется, не со мной, – Валентин протянул мне нечто едва заметное, а сам продолжал танцевать как ни в чём не бывало (как он двигался! – в детстве занимался балетом). Сердце оборвалось раньше, чем я поняла, что это мой глупый «подарок» – маленькая фотография. А когда поняла, вспыхнула, заметалась, забилась, как птица о стекло, стараясь, разумеется, не подавать виду; стала лихорадочно искать оружия («оружия ищет рука») для немедленного отмщения – увы, я была абсолютно безоружна. Разве что посреди зала вклеить пощёчину, но как, как решиться?..

В школе меня задёрнули вопросами, намёками, усмешками – на всех переменах, все, кому не лень, доброжелательницы всех четырёх параллельных классов – «А», «Б», «В», «Г». Я не слыла безответной, умела дерзить и нередко делала это, но какова была цена, было известно только мне.

Я ломала голову, как выйти из этого чёрного ужаса, в котором оказалась по собственной глупости, однако менее всего была готова отказаться от своего великого чувства, от этой пагубной страсти, заведшей в тупик.

Ничего умнее не придумав, я написала герою письмо, длинное и беспомощное, полное упреков и подробных трактовок раздутых до «слонов» фактов, которые незаметными

«мухами» давно пролетели мимо адресата. В частности, с гневом упомянула о возвращенной фотографии. А закончила ещё «умнее» – торжественными уверениями, что никаких чувств уже к нему не питаю (у Гейне: *«письмо, написанное мелко страниц в двенадцать – не безделка. Когда хотят отставку дать, не станут длинно так писать»*). Впрочем, какая отставка, когда никто не *приставал...*) В субботу на первом же уроке письмо было передано моей поверенной Марине.

Марину все любили. Она жила с мамой и братом в отдельной квартире – какая это была в то время редкость! Я обмирала от просторного коридора, единоличной кухни, где не бесновались злые соседки, персональной ванны – у нас и общественной не имелось. Но главное было не в этом – и Марина, и её мама были гостеприимными, простодушными людьми, в их доме все встречались со всеми.

Марина согласилась быть «чайкой», которая передаст «милому привет», а также доставит ответ, если таковой последует. Хотелось получить его незамедлительно, как только он выйдет из-под пера. Но дело осложнилось домашним арестом – воскресный выход из дома с нечётко обозначенной целью воспрещался. Так как ждать до понедельника было подобно смерти, организовали цепочку связи, последним звеном которой попросили быть нейтрально настроенную к склокам и сплетням, жившую в моём дворе одноклассницу.

Ранним воскресным утром я проснулась с бешено колотящимся сердцем, через силу позавтракала (о блаженные времена, когда переживания отбивали аппетит), после чего вызвалась сходить в «серый» магазин за покупками, слава богу (да, вот так мы тогда говорили – всуе и с маленькой буквы), не вызвав подозрений. В первую очередь зашла к «связной» в трёхэтажный корпус, получила конверт, на котором была старательно выведена моя фамилия в дательном падеже, и в нетерпении, прямо в чужом подъезде вскрыла (*«ну-ка, чайка, отвечай-ка»*)...

В конверте лежало письмо, предьявленное читателю в начале главы. Написанное нарочито красивым, с завитушками, почерком, дабы побольней уязвить...

Со мной может кто-нибудь не согласиться, но и теперь, спустя десятилетия, письмо это кажется мне блестящим образцом эпистолярного жанра, особенно если учесть тот факт, что писал его воспитываемый улицей отрок пятнадцати лет от роду...

Я и тогда почувствовала, как посрамил он мою глупость. Но, вероятно, не всё поняла, если тут же села строчить следующее посланье, глупее прежнего. Очень плохо я писала. Хотя Anne Ивановне нравилось: почти каждое моё сочинение она носила по классам и зачитывала вслух.

Вряд ли что-либо в этом очередном моём произведении могло всерьёз задеть развлекающегося мальчика, но был дан коварному повод, которым он незамедлительно воспользовался, тут же создав шедевр под названием «открытое письмо». Документ был рассчитан на широкую аудиторию. Один экземпляр распространялся среди «слушателей» мужской школы, второй кто-то из параллельного класса передал мне в руки, третий разносила по всем классам женской школы сама Тонька, открыто перешедшая с этого момента в стан моих недругов: я позволила себе в своём письме неодобрительно отозваться об «уличной» компании, к которой причислила и её. Она собирала на переменах вокруг себя вольнослушателей, от которых не было отбоя, и с выражением зачитывала гневный, вдохновенный пасквиль, созданный несомненным талантом моего возлюбленного и размноженный моей бывшей подругой – интриганкой Тонькой.

«Открытое письмо» для чемоданчика не сохранилось. Одна копия была отобрана у очередного собрания возмущённой Анной Ивановной, другая осталась в анналах мужской школы. Третья, моя личная, то есть подлинник, была предьявлена папе по его требованию и к адресату не возвратилась. Так что не могу воспроизвести в точных выражениях тот яд, который излил на мою бедную голову роковой герой. Помню только, что «памфлет» был дьявольски красив...

Анна Ивановна, посчитав факт публичного унижения любимой ученицы возмутительным и недопустимым, решила требовать сатисфакции: ходатайствовать о возбуждении в мужской школе вопроса об исключении обидчика из ВЛКСМ. К чести (или глупости?) эпохи, те вполне невинные, хотя не без ехидства, выпады в мой адрес, которые позволил себе в открытом послании герой, квалифицировались как оскорбление и могли явиться основанием для такого тяжкого наказания как исключение из комсомола. Мы так рвались туда, в этот комсомол, зубрили устав, дрожали на ковре райкома, гордились принадлежностью союзу. Я горько рыдала, не попав в первый «призыв» очередного года, потому что ещё *не соответствовала* возрастному цензу...

Сложившаяся ситуация предоставила мне уникальную возможность принести жертву на алтарь любви, я заклала свое самолюбие и позвонила возлюбленному, чтобы предупредить о возможных санкциях. Артистичный юноша говорил со мной тепло и благодарно и даже сделал вид, что перспектива вылететь из союза молодежи его весьма удручает. А может, так и было на самом деле – вряд ли отрок той эпохи мог быть отъявленным циником...

Потом было классное собрание. Анна Ивановна сразу объявила меня обиженной, а Тоньку и Валентина – обидчиками, которые должны понести наказание. Класс шумел, щеки пылали, глаза горели, расходиться не спешили – ещё бы, такое развлечение среди скуки школьных будней. Кто-то меня защищал, кто-то в чём-то обвинял, мне же хотелось одного – чтобы поскорей эта попытка кончилась...

Много в жизни тяжёлых минут, и кажутся они неизбывными. Но даже самые тяжёлые сердечные раны затягиваются, блекнут, становятся сначала вчерашним, затем позавчерашним, потом далёким-далёким днём. Иногда рубцы так и не рассасываются...

В тот момент я даже, как тогда формулировали, *снизила успеваемость*. Признаться, я любила пятёрки, но не как самоцель, а как капитал, обеспечивающий некоторую вольность поведения, свободу действий. Только позже стало ясно, что возможны варианты; например, пользоваться этой свободой, ничем её не обеспечивая, или вкладывать «капитал» в другое, не столь эфемерное «предприятие»; да и о какой такой свободе я *мнила?* – трудно представить себе более несвободного (если так можно сказать) человека...

Под первое мая всем одновременно пришло на ум сбежать с уроков – весна, шальное состояние, солнце пьянит! Первым уроком была физкультура, и мы, молодые кобылицы, глупо и громко хохоча, забрасывали мяч в баскетбольную корзину на открытой спортивной площадке в конце школьного двора; потом быстро забежали в класс, схватили манатки – и были таковы. Все, кроме старосты и её ближайшей подруги...

Бессменной старостой была Валя Овсова. Вплоть до десятого класса она сидела за партой, заложив руки за спину (естественно, если они не требовались для учебного процесса), как это было предписано в начальной школе, и не сводя глаз с учителя. Ни разу в жизни она не ослушалась, ни разу не воспротивилась школьному распорядку, словом или взглядом осуждала тех, кто на это решался. И позже, когда пришло время дружить с мальчиками, её платоническим другом и соратником стал комсомольский вожак из соседней мужской школы. Валины волосы были всегда разделены белым прямым пробором, тонкие косички сложены в баранки и закреплены коричневыми бантами. Недаром однажды появившаяся в школе киногруппа выбрала для съёмки школьного эпизода именно Валию, а вовсе не кого-то из самонадеянных примадонн: индивидуальности для лакированной кинохроники негодились (справедливости ради надо отметить, что Валя не была лишена миловидности; видимо, и это сыграло не последнюю роль)...

Итак, мы убежали с уроков, и, видит бог, я была в этом виновата не больше других. Но надо было найти зачинщиков, а когда не нашли – их просто назвали. Относительно меня было сказано: не могла не быть.

Началась «проработка». Комитет комсомола пригрозил пятерым назначенным главарям исключением из школы (спасибо, не виселицей).

Я стояла в школьном коридоре и плакала – невозможно было объявить родителям об очередной неприятности. Анна Ивановна, проходя мимо, процедила сквозь зубы, чтобы никто не слышал: «Не реви, ничего не сделают». В конце концов объявили выговор с занесением в личное дело – был такой серьёзный, но не безнадёжный приговор. После этого обстановка несколько разрядилась, однако ненадолго.

Одновременно с восьмым классом общеобразовательной школы я заканчивала седьмой, последний – музыкальной. И вдруг – ч.п.: меня засыпают на экзамене по музлитературе, то есть ставят... тройку! А дело было в следующем. Однажды, ещё зимой, сверхнежная дама, преподававшая нам музлитературу, на уроке громко чихнула. Я – признаюсь, не очень-то вежливо, фамильярно – возьми да и скажи: «Будьте здоровы, *растите большая*». Боже мой, что тут началось! Педсовет, родители, извинения... кто воспитал такую невежу... по какому праву... Постепенно затянулось, но её постоянная холодность ко мне на уроках второго полугодия вызывала какую-то смутную тревогу...

И вот через полгода, на выпускном экзамене, она обрушивает на меня град трудных вопросов, на которые, быть может, и сама не знает ответов. Я, естественно, теряюсь и так обижаюсь на тенденциозность происходящего, что уже и на простые вопросы плохо отвечаю (не забудьте, мне только пятнадцать лет). И ставят тройку – мне, у которой по всем предметам, не менее важным в музыкальном образовании, пятёрки! Потом пересдала. Но в аттестате единственная четвёрка среди пятёрок – по музлитературе...

Как бесконечно близки мне те бесконечно далёкие дни. Читаю свои дневники, в них плохо и мало написано, но каждая запись как цветной флажок регулировщика – взмахнул, и выскочили из завалов памяти сюжеты, запахи, цвета – те, не похожие на эти. Какая тогда, в восьмом классе, бушевала весна! Какими значительными, протяжёнными были дни радости, тоски, горя, счастья – радости, тоски, горя, счастья чистой воды, еще не замутнённые въевшейся потом в плоть и кровь тщетою. Неистово шелестели бульвары, пылали газоны, вечером сводил с ума запах табака – кто помнит, как летним вечером благоухает табак? Их величество Чистые Пруды (пруд-то на самом деле один) из замарашки грязного сезона превращались в лебединое озеро; правда, тогда в нём вместо лебедей плавали лодки. «*Ты плыви, наша лодка, плыви. Сердцу хочется ласковой песни и хорошей большой любви*». Хотелось. Очень. И не было сомненья, что только такая бывает (о плохой и маленькой ещё ничего не знали). Так должно быть. Так будет. Гудели машины, звенели трамваи; рассекая лёгкий воздух, летали в «трёшках» и «десяточках» резиновые мячи...

В лужах нашего неасфальтированного двора, не просыхавших до середины лета, ослепительно сияло солнце. Мама недавно отменила свой указ не выходить на улицу без галош, пока не просохнет последняя лужа (вскоре и сами галоши были отменены цивилизацией). Но и во времена действия указа это обстоятельство нисколько не умаляло весеннего состояния, тем более что чаще всего галоши ждали моего возвращения в подвале у моей подруги Лены, чтобы потом сыграть свою короткую роль при вступлении в квартиру.

Школьные экзамены, вершившиеся в школьном переулке, куда я шла в белом наглаженном фартуке, белых тапочках, белых носках, дико и замечательно волнуясь, были неотъемлемой частью этого праздника. (Белые тапочки... Какую радость и уверенность в себе дарили они нам. Как мы ухаживали за ними – мыли, мазали разведённым в воде зубным порошком, потом топтали ногами, поднимая облако белой пыли). Казалось, в голове полная мешанина из полсотни выученных билетов, разобраться в которой нет никакой возможности. Но вот билет в руке, хороший или плохой, но – единственный, на нём надо сосредоточиться, а всё остальное можно выбросить из головы – на время или навсегда. Праздник продолжается!..

И снова огорчение, просто урожай неприятностей! Должна была ехать в лагерь от маминной работы – три близких подруги, друзья, общие воспоминания, знакомые пейзажи, скорей бы!.. Не тут-то было...

Преыдушим летом, во время лагерной спартакиады, меня угораздило в разговоре с приятелем назвать физрука, самодура и глупца, дураком; при этом я не подозревала, что «дурак» стоит за моей спиной. Услышав это, он, как ему и положено по статусу, поднял истерику, кричал, что он контуженный, а какая-то сопливая девчонка... и т. д. (хотя я пыталась соврать, что это не к нему относилось, но он-таки не поверил). Меня торжественно вывели из состава совета дружины, грозили отослать к родителям. Не отослали.

Казалось бы, всё кануло в Лету (в прошлое лето) – ан нет! Спустя год, просматривая списки отправляющихся в лагерь пионеров и наткнувшись на мою фамилию, этот «умник» заявил: «Или я, или она». Выбрали почему-то его. Получив от мамы новый нагоняй за старый проступок, я уехала в чужой лагерь. Так постепенно я приобретала жизненный опыт: дураку нельзя говорить, что он дурак, а также не следует ему желать «расти большим», когда он уже окончательно сформировался. И что, в конце концов, не могут же все быть умниками, надо относиться к дураку терпимо... Да и на самом деле, какое я, сопливая девчонка, имею право... и т. д.

Таким образом, в июне состоялась последняя – как вскоре оказалось – в моей жизни смена в пионерском лагере – чужом. Собственно, я уже была не пионеркой, а комсомолкой и безмерно гордилась тем, что вправе иногда выйти на вечернюю линейку без пионерского галстука. Все те же радости были и в этом лагере – подъёмы и спуски флага, «почта» в дождливые дни, спортивные соревнования, «монтажи» и «пирамиды», сборы, пионерские костры. Когда я перед расположившимися на полянке зрителями читала отрывок из поэмы Алигер «Зоя», сидевшая в первом ряду начальница лагеря вытирала слёзы. Я была благодарная дочь своего времени, глаза мои в праздники и будни горели пафосом великого созидания...

Хотя я всю смену скучала по старому лагерю, это не помешало мне и в новом приобрести друзей, и, уезжая на пересменку домой, я настроилась на вторую смену, ни с кем толком не попрощавшись. Но оказалось, что у родителей другие планы. Финал моей многолетней летней жизни был досадно скомкан. Так – толчком в грудь – я познала неожиданное расставанье...

Теперь мне надлежало ехать с мамой к жившим за городом родственникам; сами они были в отъезде, за исключением двоюродного брата, моего ровесника. Началось всё весело, так что я вскоре перестала переживать невстречу с лагерными друзьями. С утра до вечера мы играли в волейбол через сетку с одноклассниками моего кузена. Сам же кузен, познакомив меня с ними, через несколько дней отбыл, как водилось, в пионерский лагерь. С одним из волейболистов мы замечательно сыгрались: я, стоя на третьем номере, навешивала ему высококачественные пасы – чем лучше получался предыдущий, тем вдохновенней был следующий, – а он, подпрыгнув со второго или четвёртого номера, рубил «мертвяка» на площадку противника.

Но в одно неудачное утро вселенная погрузилась во мрак и зарядил ни на минуту не прекращавшийся в течение многих дней и воздвигнувший непроходимую стену между мною и моими новыми друзьями ливень. Не то что поиграть в волейбол – носа нельзя было высунуть на улицу, а дружба ещё не окрепла настолько, чтобы продолжиться в таких условиях. Мы оказались отрезанными друг от друга, как соседние сёла при наводнении. Небо круглыми сутками было безнадежно серым и низким, почерневшие сосны со стоном раскачивались, сбрасывая со своих набрякших шапок ушаты воды, которая, в дополнение к вечному ливню, обрушивалась на капюшон прорезиненного плаща, в котором приходилось выскакивать «на двор» – в доме удобств, разумеется, не было.

В первые три дня непогоды я одолевала толстый «Обрыв», много часов подряд не спуская затёкших ног с дивана. Но вот уже и книга была закончена, сюжет оплакан, а дождь всё лил и лил. Былые волейбольные игры казались закатившимся счастьем...

Наконец, однажды, ближе к ужину, мрак, висевший над землей столько дней, рассеялся, тучи свалило на восток, и, заливая непривычным, каким-то яростным светом верхушки сосен, засияло клонившееся к закату солнце. Мгновенно образовались сухие, испаряющие великий запах сырой земли островки, в мутных лужах нагрелась вода, лаская босые ноги исстрадавшихся землян.

Я уселась на разбухший душистый забор, держа в руке волейбольный мяч, и почувствовала, что мой организм возвращается к прежней жизни, как после тяжёлой болезни. Зорко вглядывалась я в ту сторону дачного квартала, где обитали мои волейболисты. Они не заставили себя долго ждать, видно, тоже истомились по солнцу и голубому небу. Первым показался сам «предмет». Когда расстояние между забором, на котором я сидела, и движущейся фигурой достигло расчётной величины, мяч «выскользнул» из моих рук и покатился по лужам. Расчёт был точен. Мяч был поднят тем, о котором я за дни всемирного потопа успела размышлять. Мы смущённо поздоровались...

Кончился июль, наступил август. Как-то мы с «предметом» решили разнообразить нашу жизнь и отправились навестить брата Владика в его пионерском лагере. При входе в электричку я тяжёлой, тогда ещё не автоматической дверью сильно прищемила два пальца левой руки. Задохнулась от боли, но зажалась и терпела, ничего не сказав Борису (таково было имя «предмета»), держа наливавшуюся каким-то ужасом руку за спиной (мы стояли в тамбуре). Сжавшись внутренне от боли, обдумывала, как выйти из этого кошмарного положения. Хотя было ясно, что предстоит провести вместе несколько часов и скрыть случившееся не удастся. Когда вскоре вышли на платформу, со словами «посмотри, что со мной случилось» я протянула Борису раненую руку и сама впервые увидела её – распухшие, сине-багровые суставы с густо запёкшейся кровью. Его огорчению не было предела. Пришлось мне его утешать, а он прикладывал к моим ранам листья подорожника, предварительно обтерев их чистым носовым платком, который положила ему в карман заботливая мама. В лагере мы сначала нашли медпункт, где мне обработали и перевязали руку, а уж потом отыскивали нашего дорогого Владика. Мы сидели в беседке за маленьким столиком, на котором, среди других надписей, было нацарапано «Аня+Владик»...

Лето закруглялось. Солнечный свет уже гораздо раньше соскальзывал с верхушек мачтовых сосен, по стволам которых ловко, как кошка, взбирался вернувшийся из лагеря Владик. Иногда наступали дни вселенского шелеста, когда сосны отчаянно раскачивались, прочие деревья и травы шелестели – всё это ревело, как океан, и заставляло на время забыть мелкие подробности существования. Склонялись шапки золотых шаров – маленьких бесплодных подсолнухов...

Ещё не вполне зажившими пальцами я сыграла свою программу на вступительных экзаменах в музыкальное училище и поступила-таки в него. Зачем? Кто его знает...

Конец августа совпал с окончанием первого тома дневника. На последней странице красным карандашом было написано: «Конец!!!» с тремя восклицательными знаками. Как же живуч этот красный грифель, нисколько не поблёк за столько лет! И через сто лет не изменит своего цвета? Нет, дневники сожгу, а пепел развею по бульвару...

III

... В Москве все оказалось на старых местах – двор, бульвар, школьный переулок. Все, что вроде бы ушло из сердца вон, снова туда вернулось, как только предстало перед глазами. «Предметы» летнего сезона были уже ни при чём.

Именно первого сентября я встретила Валентина. Он шествовал параллельно бульвару по тротуару, вдоль высокого дома, вместе со своей семьёй – высоким представительным отцом, сравнительно молодой мачехой и маленьким, лет шести, братом Андрюшей (всех, кроме мачехи, я так или иначе видела раньше). Я возвращалась из музучилища, со вступительного собрания, и шла в том же направлении, но бульваром. С деревьев под ноги слетали первые жёлтые листья. Солнце, приготовившись к заходу, грело слабенько, но приятно. Незамечаемая возлюбленным, я жадно его рассматривала. Странно было видеть моего чересчур самостоятельного героя в семейном кругу. Было заметно, что он тяготится этой сопричастностью – все время смотрел по сторонам, отставал, забегал вперед. Был бледен, худ, брит наголо, только на лбу лежала дурацкая ровная челка. Тогда все происходившие в нём перемены я относила на счёт его сложной, неведомой мне жизни, к которой его мучительно ревновала. Теперь же понимаю: просто он был подростком, а потому быстро изменялся, как щенята и котята в первые месяцы жизни.

Конечно, встреча не прошла даром – зануло, заскулило. Приближался день моего рождения – в те годы ещё приятный праздник, к тому же очень редкий, только раз в длинном-преддлинном году. Это теперь годы мелькают с дикой частотой, как будто планету поставили не на те обороты, и хочется сбежать, спрятаться куда-нибудь в пещеру, где нет часов, телефона и отрывного календаря, чтоб не звонили, не приходили, не поздравляли. Тогда же всё было интересно: кого пригласить, как рассадить, какие подарки получу рано утром от родителей...

День рождения состоялся как обычно. Проснувшись утром, я увидела на мраморном столике, который всё моё детство стоял возле моей кровати, новенькую красную сумочку из кожзаменителя, которой несказанно обрадовалась. Вечером за праздничным столом чинно сидели родители, шесть девочек из класса, Лена из подвала и два двоюродных брата. В вазе лежали расчленённые на мелкие кисточки гроздья винограда; в салатнице сопкой Маньчжурии возвышался салат «оливье», увенчанный мухомором из яйца и варёной морковки, с крапинками майонеза; на блюде распластался самодельный «наполеон». Ну, колбаска одна-другая. Севрюжка горячего копчения, по кусочку на брата. И фруктовая вода. Сначала стеснялись родителей, потом, выпив лимонаду, разошлись – шумели, танцевали «стилем» под истерический смех «инесса» («Инессы?»), хохоча вместе с ним (с ней?). Почти все мелодии были записаны на кружках из рентгеновских пленок и проигрывались на вертушке, смастеренной моим талантливым папой. Разошлись не поздно, весёлые и довольные. Или – «усталые, но довольные»...

И снова – преддверье бала, ноябрьского вечера, который на этот раз должен был состояться в нашей школе. Теперь я не только трепетала в ожидании этого события, но и принимала активное участие в его подготовке. Милая девочка Женя из параллельного класса, в недалёком детстве занимавшаяся балетом, решила выступить с номером из «Эсмеральды», принесла мне ноты и попросила её аккомпанировать. Я кое-как разучила нужный отрывок и в назначенный час отправилась к Жене репетировать.

Я никогда с Женей близко не дружила и мало что о ней знала. Слышала, что она генеральская дочка. Стройная, чересчур высокая для балета, с толстыми пшеничными косами, с прыщиками переходного возраста на лбу и щеках, она держалась скромно, говорила чуть заикаясь, со смущённой улыбкой, и была мне симпатична. Кроме того, она никогда не вмешивалась в мою «личную» жизнь (в кавычках, потому что мой «роман» с В.Е. был в гораздо большей степени общественным, чем личным), не примыкала к Тонькиным группировкам, не косилась с любопытством, не шушукалась с терроризировавшими меня девицами. То, что она к тому же была балериной, явилось для меня неожиданностью.

Итак, я подошла к большому серо-жёлтому – генеральскому – дому, потянула на себя внушительную дверь подъезда, она мягко, не спеша затворилась за мной; я открыла и захлопнула дверь лифта, отчего по всей лестничной клетке прокатилось низкое эхо, и нажала кнопку восьмого этажа. В зеркале, наличие которого в лифте было уж совсем ошеломительным, отра-

жалось мое сосредоточенное лицо – так, наверно, чувствует себя провинциалка в столичном городе.

Женя встретила меня в балетном трико, на пуантах. Робея посреди немислимых апартаментов – что там Маринины! – я прошла за Женей в огромную, высокую, с лепными потолками комнату, уставленную, увешанную, устланную зеркалами и коврами. Посреди этой красоты стоял чёрный рояль с поднятой крышкой, который в просторной зале казался изящной вещью – если до этого я и видела в жилых комнатах рояли, они являли собой случайно сохранившуюся после всех передряг истории, обременительную для тесных жилищ, задвинутую в угол рухлядь, которую выбросить не поднималась рука, но от которой охотно бы избавились. Тот рояль, за который мне сейчас предстояло сесть, вписывался в интерьер как нельзя лучше и естественней.

По пушистому ковру я неслышными шагами подошла к инструменту, поставила на пюпитр ноты и стала играть неуверенно, ошибаясь: и разучила плохо, и чувствовала себя напряжённо. Женя этого как бы не замечала. Сложив на груди руки и прищулив глаза, она примеривалась к тактам, намечала па, чиркая пуантами по ковру, отчего у меня бежали по спине мурашки и саднили дёсны.

Однако через некоторое время всё более или менее пошло на лад, я кое-как аккомпанировала, Женя, закатав часть огромного ковра, складывала отдельные движения в единый танец. Мы привыкали друг к другу и к нашему общему номеру праздничной программы. Я даже сыграла с листа неразученный кусок, чтобы Женя могла продлить танец до логического завершения.

На следующий день после уроков в актовом зале была репетиция концерта. Женя, в коротком хитоне и розовом трико, срывала восхищённо-смущённые взгляды участвовавших в программе мальчиков, так что никто, кроме меня, вроде бы не заметил, сколь несовершенно был аккомпанемент. В конце репетиции меня спросили, могу ли я сыграть «Летят перелетные птицы». Я могла. К разбитому школьному пианино подошли рыжий Вадим Б. и серый Борис П., они встали рядом, как Бунчиков и Нечаев, и довольно браво – громко и правильно – исполнили песню. Итак, мне предстояло дважды появиться на сцене, правда, во второстепенной роли...

И вот наступил долгожданный день. Утром в школе я была необыкновенно внимательна к учебному процессу. Как бы убеждала себя: никаких ожиданий, ничего особенного не происходит. После уроков поспешила домой, чтобы отрепетировать мою партию на фортепиано – всё-таки чувствовала себя не очень уверенно. Потом стала продумывать туалет. Вариантов было немного – два, и то благодаря тому, что недавно я получила в подарок от маминой приятельницы славную полосатую блузочку, таким образом, появилась альтернатива школьной форме. Наконец, полетела вниз по лестнице, налево – направо – по переулкам, подавляя изо всех сил радость ожидания (с детства была отравлена сознанием:

если чего-то очень хочешь, вряд ли получишь). Трудно описать, как сильно я огорчилась, не увидев своего героя среди гостей вечера, вся работа над собой оказалась напрасной. А так как и учитель из «мужской» школы отсутствовал, надежда на приход В.Е. хотя бы с опозданием таяла с каждой минутой. Сначала я не сводила глаз с входной двери актового зала, потом, когда «артисты» были призваны в комнату за сценой, из-за пианино вглядывалась в зрительские ряды. Увы...

Женя выступила прекрасно, я сбилась лишь в одном месте. Аплодисменты были довольно хилые: высокая, блистательная девочка, почти профессиональная танцовщица, была слишком шикарна для скромного контингента зрителей. Зато Вадику с Борей бурно и продолжительно хлопали, мальчишки оголтело кричали «браво» и «бис», так что пришлось исполнить песню ещё раз.

Валентин не пришёл. Будь он на вечере, быть может, мне было бы легче уверить себя в *остылости* моих чувств; непредвиденное же его отсутствие выбило почву из-под ног, самообман потерпел фиаско...

При всем при этом я умудрялась ещё учиться в музыкальном училище. Предметов было очень много: музлитература, сольфеджио, основы дирижирования, основы гармонии, ну и, конечно, специальность. Я была единственной из всех первокурсников, кто не перешёл в училище полностью, а совмещал его с общеобразовательной школой. Это было непросто: приходилось учиться по индивидуальному расписанию, часть предметов изучать с чужими группами, чтобы не пропускать школу.

Преподаватель по специальности Иван Дмитриевич, седеющий холостяк с барственными манерами, лет сорока с лишним, иногда приглашал меня для занятий в свою квартиру в старинном доме на Кировской, чтобы из-за одной нерадивой ученицы не тащиться в училище, если других уроков у него в этот день не было. В отличие от моей учительницы в музыкальной школе, Иван Дмитриевич не собирался понапрасну вкладывать в меня душу, ибо сразу угадал несерьёзность моих музыкальных намерений. Поэтому добрую половину времени из положенных сорока пяти минут он точил со мной лясы, провоцируя меня на дерзкие ответы – ему нравилось, что я не лезла за словом в карман. Но это не способствовало ни моим текущим успехам на данном поприще, ни рождению серьёзных планов на будущее...

Лет эдак через пять-шесть, когда я не по принуждению, а по настоятельному требованию души часто хаживала на концерты, однажды в консерватории, в антракте, я встретила Ивана Дмитриевича, который, очевидно, по привычке бороться за дерзкий ответ, сказал: «Я рад, что привил вам любовь к музыке». И – напоролся: «Это не ваша заслуга». Сказанное было не только дерзким, но и справедливым...

Моя горемычная любовь вступила в пору зрелости – ей пошёл второй год. Теперь я думаю, что нет ничего менее обременительного, чем платоническая, да ещё и безответная любовь: она не требует жертв и поступков. А что касается сердечных мук, так ведь это, хоть и больно, но так сладостно – заливаться страданием, награждая героя вымышленными и, конечно, лучшими чертами, притом, что он не может ни опровергнуть, ни подтвердить вымысел...

Снова, как и год назад, зимние каникулы прошли в томленьи и блужданиях. Иногда катались с Леной на коньках. Помню, режу «норвежками» лед, а сама *зыркаю* в сторону чистопрудных берегов: не явился ли насмешник в очередной раз понасмешничать...

Потом подоспел февраль – самый тоскливый месяц: от зимы устали, а до весны далеко. И ходишь-бродишь его кривыми дорожками, загребая ботинками серо-белую хлябь, и всё чего-то ждёшь, пропуская жизнь. Как научиться жить сегодняшним днём? Сложная наука...

Вечерами я подолгу не могла уснуть. Мечтала. Надеялась... Собственно, на что? Быть может, на то, что ещё не всё потеряно, что повзрослеем и – чего доброго – будем вместе учиться в университете... А может... А может... как у Вертинского: «*Мне кажется даже, что музыка та же... мне кажется, кажется...*» И этот стремительно закручивающийся *жизненосный* – в отличие от смертоносного – смерч из «кажется» хладнокровно подсекается: «*Нет, вы ошибаетесь, друг дорогой*»... Конечно, я ошибалась. Жила «*на планете другой*»...

IV

Ну что сказать вам, москвичи, на прощанье, чем наградить мне вас за вниманье, до свиданья, дорогие москвичи, доброй ночи, доброй вам ночи, вспомина-а-айте нас», – тепло вибрирующий голос Леонида Осиповича и ультратонкий Эдиты Леонидовны возвестили об окончании бала.

Девочки, почти все в коричневых школьных платьях и белых фартуках, и мальчишки, в узких тёмных костюмчиках и светлых праздничных сорочках, шумно спускались по изношенным ступенькам старой школы с четвертого этажа, где находился актовый зал, возбуждённые, ещё не остывшие от танцев, записок, многозначительных взглядов, громкой музыки...

Две девочки вышли в темень переулка, тесно прижавшись друг к другу. Повернули налево, с тоской посмотрели на тёмные окна зала, где ещё несколько минут назад бурлило веселье, затем резко поменяли направление на противоположное. В конце переулка к ним присоединились двое юношей, один из которых больше помалкивал, а другой, с прямыми, заглаженными назад очень светлыми волосами и коком надо лбом, двигался частыми вертлявыми шагами, всё время что-то щебетал, смеялся, оглядывался, соскакивая на мостовую, снова впрыгивал на тротуар; поток слов, не содержащий важного смысла, был, однако, явно окрашен поддразнивающими интонациями; смех звучал громко и вызывающе. На углу Хохловского переулка молчаливый юноша несколько замедлил ход, давая понять, что поворачивает к своему дому.

– Володя, не уходи, давай проводим дам.

– Нет, я пошёл домой.

И Володя скрылся в переулке, довольный тем, что компания пошла своим путём, а потому не могла заметить, что на балкончике четвёртого этажа давно дежурит, опершись на ограду, Володина бабушка, волнуясь за припозднившегося внука.

Тонкий ломтик луны полудлежал на звёздном небе, как разомлевший котёнок на мягком диване; ветер доносил запахи грядущей весны. Поредевшая компания продолжала путь вдоль Покровского бульвара.

– Наташ, как музыка? Что сейчас играешь? – Юноша явно издевался.

– Всё замечательно, а что? – Девочка явно нервничала.

– Да нет, ничего, я просто интересуюсь, как идут дела у умненькой девочки. Даже Геннадий Николаевич как-то сказал, что ты ему очень нравишься: «Хорошая девочка, отличница».

– Ну, и что ты хочешь этим сказать?

– Ничего, кроме того, что ты умница и отличница.

– По-моему, тебе пора домой.

– Отчего же? Я не ограничен во времени. Я вас провожу... Чёрт... – Он досадливо оглянулся. – Жаль, что сейчас тут нет моих девчонок, а то бы развлеклись.

– Я знаю, кого ты имеешь в виду. И что тебя привлекает в этих девицах?

– Я считаю, что человека украшает не нотная папка, а свободолюбие, развязность и всё такое прочее.

– Не твой ли это портрет?

– Нет, я не имел в виду себя...

Юноша отвернулся, пристально вглядываясь в темноту.

– Я не хочу больше идти рядом с тобой. Иди к себе домой.

Блондин залился театральным смехом.

– Вот это для меня новость. Не хочешь идти рядом со мной? Нет уж, я провожу вас, как положено.

Некоторое время шли молча. Блондин явно что-то замышлял.

– Я придумал, что я сейчас сделаю. Я побегу домой и тут же позвоню тебе домой. А так как ты ещё не успеешь дойти до своей квартиры, мне твои родители скажут, что тебя нет. Тогда я им скажу: «Ах да, я совсем забыл, что она сейчас гуляет на Покровском бульваре с Елмановым».

– Нет, ты этого не сделаешь, – Девочка чуть не заплакала, и даже её молчаливая подруга выразила протест против такой подлости.

– Почему же? Сделаю.

– Подлец! – Девочка не в силах справиться с возмущением.

– Меня этим не проймешь.

– А чем, интересно, тебя проймёшь?

– Об этом знает только один человек на всём белом свете.

Девочка остановилась, нервно теребя что-то в кармане пальто. В вечерней тишине громко звякнули, ударившись о тротуар, ключи. Юноша проворно поднял их, но положил не в протянутую руку девочки, а в свой карман.

– Отдай ключи.

– Не отдам.

– Отдай.

– Нет. Впрочем, попроси как следует, тогда, быть может, отдам.

– Отдай, пожалуйста, ключи.

Взяв левой рукой ключи... она оттолкнулась от забора, прислонившись к которому стояла... отвела в сторону весившую пудов пять правую руку... и... изо всех сил... ударила по левой щеке... юношу, с лица которого не сразу сошла самодовольная улыбка хозяина положения.

Ударила и побежала – в ужасе от содеянного, в страхе перед последствиями. Пробежав метров тридцать, остановилась, осознав, как нелепо выглядит. Оглянулась. Подруга медленно шла за ней, герой же удалялся в противоположную сторону. Вдруг он резко развернулся и стал стремительно приближаться. Девочка снова обратилась в бегство – уж больно не хотелось получить «сдачу» (знала, ведала, что можно схлопотать: прецедент, хотя и не с её участием, имел место), но опять остановилась – куда и сколько бежать? Герой тоже прекратил преследование и со словами «всё равно поймаю» завернул в переулок, по которому подругам предстояло идти домой. Вероятно, решил не суетиться, а спокойно дожждаться их у ворот или у подъезда – первое, что пришло им в голову.

Что было делать? Дома ждали родители, гнев которых с каждой минутой отсутствия дочери удесят�ерялся. Идти добровольно в руки мстителя было глупо. Девочки сделали большой крюк в надежде пройти через проходной двор и таким образом хотя бы исключить встречу у ворот, но, увы, проходной двор недавно перекрыли высоким дощатым забором, дабы неповадно было чужакам из соседнего дома топтать не принадлежащую им территорию. Пришлось делать тот же крюк в обратном направлении, чтобы – будь что будет – попасть наконец домой. У ворот никого не было, у подъезда тоже. То ли герою надоело их караулить, то ли остроумный мальчик и не собирался стоять на вахте, а просто решил взглянуть на окна учителя, прежде чем преспокойно отправиться спать...

...За обеденным столом сидит высокий человек, но не обедает, а курит папиросу за папиросой, рисуя простым карандашом на полях газеты какие-то схемы и конструкции, крылья и пропеллеры. При этом забывает вовремя стряхивать пепел в пепельницу, и тёмный порошок рассыпается по газете, клеёнке, коленям, полу.

Очнувшись от роящихся в голове идей, человек спешно сгребает пепел со стола в ладонь, открывает окно, энергично машет рукой, изгоняя на улицу прокуренный воздух. Потом смотрит на часы. Куда это они все запропастились? Звонит телефон. Конструктор снимает трубку.

– Ваша Наташа вчера вечером учинила на улице драку, о чём будет доложено в её школу...

Не дождавшись ответа, доложивший бросает трубку. Короткие гудки...

...Как-то возлюбленный дал о себе знать, хотя и не лучшим образом. В последний день марта, когда мы сидели с Леной в её подвале за бесконечным перемыванием золота несобытий, туда прибежала взволнованная Люба – домработница, которая жила у нас четыре года, пока

мама то болела, то работала, а я училась в двух школах. Хотя Люба была старше мамы, нас с ней связывала круговая порука: я не рассказывала маме, как домработница целый день точит лясы с соседом, а потом, перед приходом хозяйки с работы, пытается наскоро, тяп-ляп, переделать домашние дела, Люба же, сопереживая мне, искажала сводки моего времяпрепровождения. Одним словом, Люба не поленилась спуститься за мной в подвал, потому что наверху, в лежащей на боку телефонной трубке, меня ждал мой возлюбленный. Одним махом перескочив через все ступени всех четырех этажей, я с жадностью схватила трубку. Увы, вместо обожаемого, язвительного, бархатного голоса в трубке раздались писк, свист, мяуканье, все это сливалось в непонятную какофонию, шабаш звуков. Я, ещё в полёте, безмолвно внимала. Тут неожиданно пришла мама и, некоторое время понаблюдав за выражением моего лица, нажала на рычаг.

После этого тучи родительского гнева снова повисли над моей головой (родители, видимо, уже надеялись, что я порвала «порочную связь», и немного успокоились). И опять я шагнула от любви к ненависти, и опять воспыкала решимостью взять реванш. «Оружия искала рука», искала и ничего не находила, кроме собственной пятерни, которая давно чесалась и мечтала смазать по подлой физиономии. Как курица яйцо, только гораздо дольше – целый год – высиживала я эту решимость. И только поэтому она вылупилась в тот вечер ранней весны, когда распоясавшийся герой довёл меня до крайнего, невменяемого состояния. Спасибо ему за это...

Надо признать, что кое-какого эффекта я своей смелой пощёчиной достигла: герой меня на время зауважал. Вскоре после случившегося позвонил, чтоб сказать: «А ты молодец!» – «А зачем же ты доложил о «драке» моему папе?» – «Я не докладывал» – «А кто же это был?» – «Очевидно, какой-то соглядатай».

Однако встреч я опасалась, старалась их избегать, и это, как ни странно, удавалось. Но однажды он позвонил и попросил о свидании (?!). Поколебавшись, я всё же согласилась встретиться с ним возле «света в окошке»: Валентин совмещал полезное с приятным (хотя непонятно, чем я могла быть ему полезной, тем более – приятной). По-видимому, в окошке светило, иначе отчего он столь мило и даже ласково разговаривал. Вдруг спросил:

– А ты знаешь, как ответил на пощечину герой «нищего студента»?

Я насторожилась:

– Нет. Как?

– А ты спроси у кого-нибудь.

– А почему ты не можешь сказать?

– Боюсь, оскорбишься...

После этого он отправился к Геннадию Николаевичу, а я пошла домой переваривать новые впечатления. Несколько дней у всех допытывалась, как ответил «нищий студент» на пощечину, но никто не знал. Наконец, кто-то очень эрудированный пояснил: он её... поцеловал!!! Вот тебе и на! Что бы это значило? (ха-ха, конечно же, ничего). Я не оскорбилась, но и за комплимент не сочла – до «поцелуев» было далеко...

И опять очередное умопомрачение, бешеный прилив чувств. В дневнике сплошь: «я его всё-таки люблю», «как он мне нравится», «сомнений нет – я всё ещё влюблена»... И т. д. Плоть ли – просыпающаяся бесилась, душа ли зудела от несоответствий: стремлений – свершениям, желаний – возможностям, настроений – погодам. Не знаю, не знаю, не знаю...

Потом были экзамены: восемь – в школе, семь – в училище, к середине июня всё это было позади. Беспрецедентная для меня, но вполне объяснимая тройка на экзамене в музучилище по специальности навела не одобрявших моих крайне редких троек родителей на мысль, что, быть может, музыкальное образование при таком моём отношении к нему – бессмысленно. Ивана Дмитриевича, который сбежал из экзаменационного зала раньше, чем зачитали оценки, я увидела только через несколько лет в консерватории. Так и не удалось выяснить, спешил

ли он куда-то в тот памятный день или был донельзя раздражён неловким бегом моих мало тренированных пальцев по «Экспромту» Шуберта (в таких случаях на «тренировках», прервав нервным хлопанием в ладоши мои потуги увеличить темп, он говорил: «Как в столовой: подают очень горячие щи, чтобы невозможно было почувствовать вкуса»)...

Таким образом, наступило первое в моей сознательной жизни поистине свободное лето. Хотя и прежними летам я редко занималась музыкой, держать в голове эту заботу волей-неволей приходилось.

Именно в это время я начала складывать стихи. Некоторый опыт у меня уже имелся: в пятом классе, испытав «благородный» гнев по поводу того, что наша любимая, красивая, «холостая», обязанная принадлежать только нам (так мы считали) учительница ботаники была застигнута кем-то из девчонок на Чистых прудах на скамейке... с кавалером (?!), я разразилась поэмой, в которой заклемила «распутницу» и её моральный облик. Эту поэму мы, мелкие, мерзкие паршивки, подкинули ей на учительский стол. Учительница унесла наш опус («наш», потому что я выразила общественное мнение), комментариев не последовало. Копии я себе не оставила, ни одного слова не запомнила; думаю, жалеть не о чем (разве о том, что, быть может, заставили смутиться хорошего человека)...

Теперь, в девятом классе, всё было более чем стандартно: ложилась вечером в постель с бумагой и карандашом, до полного изнеможения укладывала слова и чувства в строфы, потом, опустошённая, засыпала. Никому тетрадь со стихами не показывала, прятала в шкафу за книгами. Чего только не было в этих сочинениях! Безумно рыдал рояль; похожая на ворона из По старуха предсказывала жаждущему умереть герою мучительное бессмертие; незнакомка, подозрительно смахивавшая на Блоковскую, обрекала возлюбленного на смерть. В одном из стихотворений я даже оплакала своё сорокалетие – за четверть века до его наступления. Все стихи дышали разлукой и смертью. «Никогда» было вечным мотивом, «невстреча» – единственной темой. Уж не напророчила ли я себе её уже тогда? *«Мы встретились? Да... Мы встретились? Нет... Я помню той бездны печальные звуки, в той бездне поётся о вечной разлуке... Мы встретимся? Да... Мы встретимся? Нет...»* и всё это, конечно, ему, о нём...

Вторым громоотводом стала консерватория. Теперь, освободившись от гамм и классов, я чувствовала истинную потребность окунуться в спасительную стихию музыки, внимала созвучиям и диссонансам, пьянела от стонов оркестра. В неподдельном экстазе слушала в первый раз «Поэму экстаза» Скрябина, накаляясь вместе с главной темой, протягивая руку к ЗВЕЗДЕ, показавшейся на миг досягаемой; а потом обрушивалась в бездну, называемую ТАК НЕ БЫВАЕТ... Сейчас, всё реже и реже усаживаясь в бархатное консерваторское кресло, мучаюсь сомнением – вдруг НЕ УСЛЫШУ... Вдруг – ВСЁ... Иногда не сразу, но всё же отрываюсь, лечу. НЕ ВСЁ...

В летние каникулы опять была дача – в другом районе Подмосковья, но тоже с соснами. Купив на первые собственные деньги (в училище я полгода получала стипендию) велосипед, я с необузданной страстью предалась гонкам по шоссе, дорогам и дачным переулкам. Всё детство мечтала о велосипеде, у всех владельцев вожеленных машин выпрашивала покататься, и вот – свой! Сложилась приятная компания: пять-шесть интеллигентных мальчиков, я и ещё одна девочка – красавица Людмила. Красота новой подруги, которая была на полтора года моложе меня, в полной мере гадкого утенка, поражала зрелостью: высокая грудь, тонкая талия, неслучайные взмахи ресниц и бровей. У меня было перед ней одно-единственное преимущество – я появилась «на новенького», в то время как Людмила и наши кавалеры – дети владельцев местных дач – вместе росли; быть может, это мешало им в полной мере оценить красоту расцветшей подруги детства. Симпатии распределились таким образом, что все были довольны. Мы совершали феерические заезды по запруженному машинами шоссе – страшно вспомнить.

Слава богу, всё обошлось. Возвращались домой затемно, включали велосипедные фары, они уютно стрекотали, освещая дорогу, правда, часто ломались, и тогда наши доблестные рыцари чинили их в полной тьме.

За заборами лаяли и подвывали злые собаки, из зарослей тянуло ароматом настоящей на вечернем тумане крапивы. Иногда на чьей-нибудь веранде танцевали. Всё было протяжённо и значительно, и мы бы очень удивились, если б в тот момент нам кто-то сказал, что такое огромное, разнообразное, насыщенное событиями настоящее, целиком и полностью устремлённое в далёкое и светлое будущее, очень скоро станет безвозвратным прошлым.

Когда лето въехало в прозрачные слои сентября и прекратило там свое существование, мы с Людмилой, ученицы разных школ и разных классов, уже покинувшие дачи, как-то в одно из воскресений явились в наш дачный посёлок, где еще недавно шумел праздник, а теперь в лучах бессильного солнца блестела паутина, на опустевших участках желтела трава, валялись брошенные игрушки; не лаяли злые собаки, потому что переселились злиться в городские квартиры, а прищуренные взоры их бездомных соплеменников, стайками дремавших на солнечных пятачках, никаких эмоций не выражали. И зародились тогда в моей детской душе пронзительная тоска по умершему лету и отчаянный, бессильный протест против невозможности остановить прекрасное мгновенье...

V

День, самый холодный в первой половине той зимы и один из самых коротких в любом году, стремительно угасал. Сменявшие его синие сумерки не казались щемяще печальными, как это бывает обычно, может быть, потому, что спустились они на одну из самых оживлённых столичных улиц, и потому, что день этот был кануном Нового Года – того исторического, о котором ещё никто ничего не знал.

В театральной костюмерной, где выдавали напрокат списанные из театров костюмы, с самого утра в длинной и очень медленной очереди изнывали две молодые девушки. Стоять надоело, но костюмы были нужны позарез. Ничего не оставалось как набраться терпения. Время от времени девушки выходили на заснеженную позавчерашним снегопадом улицу, которую два дворника в чёрно-бежевых передниках почти целый день скребли, свирепо скрежеща широкими лопатами. Солнце завершало свой малый декабрьский круг, и за крышей дальнего дома виднелся последний сегмент большого красного диска.

Когда наконец солнце и дворники исчезли, уложенные по краю тротуара сугробы засверкали мириадами алмазов, а девушки в изнурительном ожидании растеряли половину радости по поводу предстоящего бала, усталая женщина пригласила их в небольшую комнату и махнула рукой в сторону опустевших кронштейнов, где висело всего несколько платьев грязно-белого цвета: «Вот, выбирайте». Какими смешными показались жаркие споры, которые вели девушки несколько часов, стоя в очереди и прикидывая на себя тот или иной образ. Одна из подруг, высокая, статная, с головой в мелких кудряшках, непременно желала быть мужским персонажем – Чайльд Гарольдом, Диком Сэндом или, на худой конец, Д Артаньяном. Вторая, поменьше ростом, мечтала нарядиться по правилам старинного бала. В общем-то второй девушке, можно сказать, повезло: оставшиеся на кронштейне платья, хотя и разочаровывали несвежим видом, были, очевидно, потрепаны на балах знаменитой оперы. Так как выбирать было не из чего, а время подпирало, девушки запихнули платья в общий чемодан и побежали – до начала праздника оставалось немногим более двух часов.

Так... Фигура втиснута в жёсткий, вишитый в платье корсет; волосы, в спешке недозавитые и уже почти растерявшие локоны, распущены по плечам; к глазам прижаты самодельные маскарадные очки из чёрного бархата с прикрывающей рот присборенной вуалеткой...

Затаив дыхание – через высокую дверь – в актёрский зал... У противоположной стены – скопление мальчишек, они в основном без костюмов и масок, но нарядные и веселые. Заинтересованные взгляды направлены на стайку вошедших.

«Татьяна Ларина» сквозь узкие прорезы бархатных очков мгновенно отыскивает блондина в чёрном костюме, белоснежной сорочке, тёмном галстуке. Вместе со всеми он разглядывает появившихся дам. На миг задерживает взгляд на темноволосой красавице, поразительно похожей на Татьяну Ларину, потом понимающе, иронически улыбается и переводит взгляд на другие «маски».

И тут из рупора грянул вальс. Не дожидаясь нерасторопных кавалеров, ошеломлённых невиданной красотой, девочки закружились шерочка с машерочкой, разыгрались, запустили снегопад конфетти, обмотали шеи спиральками серпантина. Стоящая посреди зала ёлка уповательно пахла свежей хвоей, в гуще мохнатых лап горели маленькие лампочки. Постепенно и мальчишки разошлись, затанцевали: застенчивые – друг с другом, кто посмелей – с девушками. В одном углу организовался «ручeyк», в другом натянули верёвку с подвешенными к ней конфетами и игрушками, и вот уже невысокий паренёк, тщательно раскрученный, с завязанными глазами, под общий смех режет ножницами воздух вдали от лакомых сюрпризов.

Добровольцы-почтальоны раздали всем номера, и по залу стали носиться письма. Дама с развширившимися локонами получила записку: «Маска, я вас знаю и люблю». Адресант навсегда остался неизвестным, было лишь ясно, что это был не тот, от кого зависело счастье адресата...

Как же всё быстро кончается. Уже Утёсов замедляет концовку: «Доброй вам ночи, вспомина-а-айте нас»... Такая усталость... Помятое платье, испорченная причёска, несбывшиеся надежды... Грядущим утром – праздник позади. Когда-то следующий?..

К «Татьяне Лариной» подходит юноша двухметрового роста и предлагает помочь нести чемодан. Очутившийся рядом невысокий блондин в чёрном костюме саркастически, как чёртик, хохочет и неучтиво недоумекает: «Тебе своего чемодана мало?» На том бал кончается, лакеи гасят свечи...

...Итак, второго сентября, после долгого летнего перерыва, проходя мимо будки телефона-автомата (случайно!), я услышала бархатный голос моего возлюбленного, с кем-то оживлённо беседовавшего, и оторопела: как ни работала над собой, как ни отвлекалась, как ни оживляла в памяти прекрасные эпизоды каникул и образы украсивших моё лето истинных джентльменов, как ни избегала мест, где могла бы произойти случайная встреча – ничто, оказалось, не помогло.

Одoleвала учеба и, как всегда бывает, освободившееся от музыки время незаметно распределилось по суткам, так что свободы не получилось. Задавали много уроков, и я нередко сидела за полночь, честно стараясь ни один предмет не оставить без внимания.

Однажды на пути в консерваторию, в предвкушении Шестой симфонии Чайковского, я столкнулась на улице с идущим навстречу В. И вдруг с удивлением заметила, что реальный герой с каждым разом всё меньше похож на кумира, которого я себе сотворила. То ли он так быстро менялся, то ли мой идеал приобретал иные черты – не знаю...

В конце декабря состоялся новогодний бал. Когда он, как все балы на свете, закончился, ко мне подошёл Миша З. и предложил помочь нести чемодан с карнавальный костюмом. Там лежало уже одно-единственное платье – то, в котором я воображала себя Татьяной Лариной, потому что подруга Татьяна, жившая недалеко от школы, ушла домой прямо в бальном платье. Так что в помощи я не нуждалась, да к тому же подвернувшийся под руку «Онегин» подтрунил над приятелем: «Тебе своего чемодана мало?»

Прошедшие два года разрушили мою целостность: снаружи я была весьма активной отроковицей с комсомольским задором, а внутри – грустной плакальщицей, беспрерывно хоронив-

шей надежды. Стремительно, как вода в песок, уходила вера в себя и возможность счастья на земле. Сочинялись стихи, поселялись в правой половине красной тетради, в левую же переписывались вперемешку Пушкин и Сурков, Лермонтов и Симонов, Гиппиус (из старинных «Чтецов-декламаторов», найденных мною в библиотеке родственников) и Щипачёв...

Я не принадлежала к тем детям моего поколения, которые в хрупком возрасте тесно соприкоснулись с бедой, будучи ещё не в силах её переварить. Родители никогда, во всяком случае при мне, ни *о чём таком* не говорили. Через все школьные годы я пронесла искреннюю веру в самую лучшую в мире страну и в своё счастливое детство. О других настроениях я не догадывалась. Даже тот факт, что родители Инны Левик, с которой я до седьмого класса дружила (потом она ушла из школы), почему-то жили отдельно, вдали от единственной дочери, а Инну воспитывала хорошая, но не родная по крови тётя, не наводил меня ни на какие подозрения – а как ребёнку, который не ведаёт, что творят взрослые, догадаться? Мне, конечно, казалось это немного загадочным, но вопросов я интуитивно не задавала. Иногда Инна вскользь делилась радостью: получила от мамы письмо.

Я не сомневалась, что религия – опиум для народа, и отказывалась отведать освящённого Любой в церкви Петра и Павла кулича, о чём она, во спасение моей души, умоляла. И только из уважения к верующей бабушке, которую видела один раз в год, на Пасху, деревянной рукой протягивала ей крашеное яичко, трижды христосовалась и увязшим в спазме голосом подтверждала, что Христос Воистину Воскреси. При этом ничего не знала про Голгофу и крестные муки. Бог был один – тот, о котором день и ночь вещали по радио, писали стихи и романы, слагали песни и без которого жизнь на земле была невозможна...

В первые дни марта, когда весь мир, почернев от горя, слушал сводки о состоянии здоровья того, кто не мог, не должен был умереть, я, ещё никого не провожавшая в последний путь, гораздо больше верила в чудо выздоровления, чем в реальность смерти. Как заклинание, повторяла я строки известного стихотворения, которое ещё недавно с иступлённой страстью читала со сцены актового зала, глядя в добрые прищуренные глаза на портрете.

Когда скорбный голос диктора возвестил о том, что все кончено, я впала в полупомешанное состояние, осипла и опухла от рыданий и не понимала, почему папа не бьётся головой о стену, а учитель физики «Кузя», как ни в чём не бывало, проводит урок с показом дурацких диапозитивов.

Потом были «пять ночей и дней», нескончаемость траурных мелодий, дикая, до тошноты, головная боль, мысль о несуществующем без НЕГО завтра. Превратившаяся в чёрный траурный комок, я встала в хвост очереди, выстроившейся через всю Москву к Колонному залу. За несколько часов удалось продвинуться до Сретенки, а дальше творилось что-то невообразимое: сплошное месиво из людей, грузовиков, милиционеров, потерянных галош. Ноги и руки окоченели, глаза ломило, но надо было дойти, необходимо – эта ночь была последней. Завтра ОН уходил в бессмертие. Мучительно раздумывала я, слушая вопли у подножия Рождественской горы; было темно, неоткуда позвонить папе (мама лежала в больнице), и я дрогнула. Повернула к дому. Когда вошла в квартиру, папа бросился ко мне со слезами на глазах – уже поползли слухи о погибших в толпе...

Позже, когда обухом по голове (по моей – определённо) пришла эпоха разоблачений и реабилитаций, мы с трудом смотрели друг другу в глаза. Было так тяжело, что, грешным делом, я даже некоторое время сомневалась: а не лучше ли было всего этого не знать?..

Пропущенные через горнило утрат и разочарований, мы, сами того не замечая, становились другими – то ли закалёнными, то ли надломленными; и хотя нас всегда учили ставить общественное выше личного, молодая жизнь брала своё, и личная жизнь, будучи ниже общественной, всё же продолжала иметь место, естественно, требуя участия в ней самой личности...

После майских праздников решили собраться у Соньки слушать Вертинского (грампластинки тайно изымались для прослушивания из кабинета Татьяниного отца, страстного коллекционера) и пригласить В.Е как единственно достойного из знакомых мужчин. Мы боготворили Вертинского. Нам повезло, что папа Миша владел великолепной коллекцией пластинок. Артист, хоть и замолил свои грехи перед родиной, находился в полуопале, и услышать его живьём было чрезвычайно трудно. Как волновали наши детские души его розовые моря, пенные кружева, бальные оборки, чужие города – одним словом, всё-всё. Я садилась за пианино и надрывалась: «*А жить уже осталось так немного, и на висках белеет седина*», – чем смешила маминых гостей, даже у них ещё не белели виски...

Итак, собрались – Сонька, Татьяна, Нинка рыжая и я. Валентин пришёл последним. От неожиданной, «легальной» близости возлюбленного я превратилась в восковую фигуру: впервые наблюдала его не издали в актовом зале, не на пересечении дорог, где считала нужным делать вид, что не обращаю на него внимания, а в уютном доме подружки, и впереди имелось несколько часов совместного пребывания в атмосфере высокого искусства.

Странно было видеть героя не мастером эпатажа, не суетливым насмешником, а молчаливым и возвысившимся духом слушателем, как того требовал момент. Всё мне было в нём мило в этот вечер: и многозначительное выражение лица, и то, что на меня ни разу не взглянул, и то, как пил чай – скромно, но без скованности человека, попавшего не в свою тарелку. Одно было горько: настало время идти домой. Не желая сделать всеобщим достоянием свою печаль в случае, если он уйдёт первым, я решила его опередить и, к радости родителей, пришла домой довольно рано.

На следующий день выяснилось, что В. провожал рыжую Нинку, нашу постоянно выпендривавшуюся интеллектуалку, до самого её дома. Нинка настолько обезумела от успеха (вряд ли кто-нибудь когда-нибудь провожал её до дома), настолько возвысилась в собственных глазах, что обозвала В. болваном – дескать, он не мог объяснить, чем ему нравится Вертинский. Я не стала вступать в дискуссию. «Не мог объяснить»... да всё он понимает не меньше твоего, уважаемая умница...

Итак, всё. Школьная форма доношена. Белые воротнички, манжеты и банты скручены в исторический свиток. Всё...

Предвидя вечную разлуку, я металась, сочиняла безумные письма, выпуская «пар» на бумагу, потом рвала их и на некоторое время успокаивалась.

Ещё предалась беспорядочному чтению. Грин, Уайльд, Метерлинк, Достоевский, Гамсун, Блок, Гофман, бесконечная вереница известных и неизвестных поэтов, калейдоскоп без знания дат, жанров, школ; основное кредо оценки – соответствие моему состоянию. В отличие от Уайльда, который считал, что жизнь в значительно большей степени подражает искусству, чем искусство – жизни, я свято верила в то, что столь уважаемые мной книжные добродетели списаны с природы, более того – живут и преобладают в повседневной реальности, являясь законами человеческого существования.

«*Я вас любила в этот странный вечер за вашу яркую любовь к другой*», – пела Шульженко, и я вместе с ней. В отличие от других девчонок (утверждали: *так не бывает!*), я не считала странными ни тот вечер, ни любовь за любовь к другой...

Вечная разлука тем временем неумолимо приближалась. Корабль с несбывшимся героем медленно погружался в небытие. Как путнику из сказок, жизнь открывала мне по крайней мере три пути: направо пойдёшь... налево... прямо... Я пошла *не туда* (хотя кто знает?..). А посему не сделала сказку былью...

В то лето мы снимали дачу у человека, похожего одновременно на Степана Плюшкина и Иуду Головлёва. Его-то жена, милая грустная женщина, и прочитала мне в саду запомнившиеся на всю жизнь строки: *«Это было давно...»*

Однажды в начале августа, когда мама лежала на жёстком топчане, как ей было предписано врачами, под чужим кустом чёрной смородины, не вправе воспользоваться его спелыми, готовыми осыпаться ягодами, а я неподалёку штудировала учебник по литературе (несколько дней оставалось до того знаменательного, когда хрупкая надежда на милость судьбы если и не умрёт окончательно, то тяжело и неизлечимо заболит), в калитку вошёл Миша 3., рост которого к этому моменту достиг двух метров. Пригнувшись, он машинально зацепил рукой чиркнувшую ему по голове вишнёвую ветку, и ладонь обагрилась красным соком примятой ягоды (*истекаю вишнёвым соком!*). Из застеклённой террасы, служившей наблюдательным пунктом, выскочил разъярённый хозяин и сурово отчитал Мишу за хулиганство и воровство ягод. Бедному Мише ничего не оставалось как что-то растерянно лепетать в оправдание.

Когда неловкость немного рассеялась, Миша тщательно вымыл руки, повелел мне сделать то же, после чего разложил на столе десяток фотографий... В.Е. (!), которого снимали для какой-то кинопробы. Не знаю, на какую роль его пробовали, но с накрашенными глазами и губами он выглядел ослепительной кинозвездой. Я попросила оставить фотографии на пару дней, а возвращая, одну утаила – ту, на которой он более всего походил на себя «нормального», «бульварного». Так и лежит с тех пор эта фотография в дерматиновом чемоданчике. Вечный сверстник, мудрёный мальчик, запечатлённый когда-то хорошим студийным фотографом, он и сегодня не видится мне ребёнком. А ведь это было ещё детство...

В следующем феврале, когда после скучной, но успешно сданной сессии я лежала больная простудой, меня снова посетила вечно живая идея поздравить канувшего в Лету героя с днём рождения (эту дату я помню и теперь), и я сочинила очередную глупую эпистола, в которой поздравляла, вспоминала, сетовала, тосковала по ушедшему времени и т. д. Написала и тут же поручила пришедшей проведать меня подруге опустить конверт в почтовый ящик. Когда она вместе с письмом ушла, я ужаснулась содеянному. Но было поздно...

Через несколько дней со словами «какой позор» мама швырнула на стол вскрытый конверт, на котором значился наш адрес и внутри которого лежало... моё письмо (прочитанное ли – кто его знает). Больше ничего. Возлюбленный и в Лете оставался самим собой.

Вскоре я дважды подряд встретила моего героя, образ которого стал превращаться в символ неразделённой любви. После чего не видела никогда.

Весной, гуляя по главной улице родного города в состоянии полного невдохновения и в сопровождении многолетнего воздыхателя (многолетним, впрочем, он стал через много лет, а в этот момент был ещё недавним), я вдруг увидела впереди себя и тотчас узнала по затылку и, конечно, по походке Валентина. Было это, как сейчас помню, в начале городских сумерек, на улице Горького, в районе пересечения главной улицы со Столешниковым переулком. Как и я, он шёл вдоль по Питерской, вниз, в сопровождении двух мужчин. У меня перехватило дыхание, и, ничего не объясняя, я объявила спутнику, что хочу идти за этими людьми. Вскоре стемнело. В.Е. несколько раз оборачивался, но смотрел мимо меня, так что я была совершенно уверена, что не замечена им. Поклонник пытался воспрепятствовать навязанному маршруту, но, видя мою непреклонность, был вынужден покориться. В коротком тёмном переулке, за памятником первопечатнику я потеряла бдительность и сильно сократила дистанцию. Вдруг В. резко остановился, развернулся, вонзил в меня раздражённый взгляд и спросил: «Может, хватит?» Что тут ответишь? Я была посрамлена...

В другой раз, поздно вечером, в вестибюле одной из центральных станций метро, я заметила В.Е. в компании весёлых джентльменов. Встав в кружок, они оживлённо общались. Скрывшись за выступ стены, я смотрела на возлюбленного, не в силах оторвать взгляда. Он был в тёмно-синем плаще, с белым шарфиком, очень красиво лежали волосы, и даже чудный

голос мне удалось вычлени́ть из общего хора. Я, конечно, не догадывалась, что вижу его в последний раз...

Больше я ничего о Валентине не слышала, кроме того, что вскоре его семейство покинуло дом на бульваре. Люди потянулись в районы новостроек. Уехала из своего подвала Лена, уже с мужем и маленьким ребёнком. Родственники, что проживали на той самой коммунальной даче, где некогда нас застал знаменитый многодневный ливень, получили наконец шикарную «сталинскую» квартиру с ванной и персональным ковшом мусоропровода.

А мы всё ждали своего часа, и новая соседка, въехавшая в комнату тётки Маруси и дяди Герасима, придумывая, как бы сильнее досадить «этим интеллигентам», то бишь нам, запира́ла от нас свой стоявший на кухне холодильник на огромный висячий замок, чем огорчала даже своего супруга, который ничего против интеллигенции, то бишь против нас, не имел.

Наконец дождались и мы. Дом похуже сталинского, потолки пониже (началась эра массовой застройки), но – лифт, балкон, ванна, личная кухня! Так что были безмерно счастливы. Когда же фургон с нашим скарбом покидал двор и старухи в последний раз шептались нам вслед, ком застрял в горле, да так с тех пор и не рассосался...

«Ты любовью меня уведи из тенет отвзневшего детства», – написала норвежская девочка из рассказа норвежского писателя. Её – увели. Я же всю жизнь барахтаюсь в тенетах своего счастливого детства...

Часть вторая Круглый стол

«Я живу в странном и неверном мире. Живу, – а жизнь проходит мимо, мимо меня. Женская любовь, юношеская пылкость, волнение молодых надежд, – всё это остаётся навеки в запрещённой области несбывшихся возможностей. Несбыточных, может быть...»

Обычность – она злая и назойливая, и ползёт, и силится оклеветать сладкие вымыслы, и брызнуть исподтишка гнусной грязью шумных улиц на прекрасное, кроткое, задумчивое лицо твоё, Мечта!...»

Ф. Сологуб «Творимая легенда»

I

Когда жизнь моя приобрела определённый статус, если этим словом обозначить нечеловеческую суету, – работала от звонка до звонка в старинном особняке, охраняемом двумя львами, один из которых всегда спал, другой всегда бдел; мчалась за ребёнком в детский сад, чтобы вовремя доставить его на занятия прославленного детского хореографического коллектива; пока дочь в пыльном зале с зеркалами находилась в объятиях Терпсихоры, бегала по магазинам, стараясь, не всегда успешно, приобрести продукты; ехали домой, чумные от усталости, но не сдавались – по дороге играли «в стихи»; так вот, когда я этот блистательный статус приобрела, на работе у меня завелась «подружка». Моложе меня лет на десять, фантазёрка и эгоистка, мечтавшая выйти замуж, но не видевшая себя со стороны, она постоянно пускалась в авантюры, о чём любила мне порассказать в рабочее время. Я слушала вполуха – у самой проблем было невпроворот, но однажды она поведала мне о новом знакомом и, чтобы вполне овладеть моим вниманием, подчеркнула, что я этого человека знаю. Несмотря на то, что человек просил её оставить в тайне их знакомство, подружка открыла мне его имя: им оказался... Миша З. Я, конечно, умолила справиться у Миши о В. Увы, ближайший друг Валентина ничего о нём не знал.

Всё ещё заинтригованная его судьбой, я запросила однажды в адресном бюро адрес гражданина В.П.Е. такого-то года рождения неизвестной профессии. Ответ был: такой человек в Москве не числится. А где же числится? В жизни-то числится? Я прикидывала, как могла сложиться его жизнь. Ничего не складывалось...

Как-то я повела свою близкую подругу, приобретённую уже в зрелые годы (редкий случай), в заветные места. Было Светлое Христово Воскресение. Бульвар ещё не шумел листвой, но знакомое по другой жизни предчувствие весны сразу охватило меня, как только мы к нему приблизились. Вот арка *его* двора. Мы вошли в неё и повернули налево. Пересекли по диагонали скромную территорию двора, когда-то совсем голую, а теперь усаженную двумя рядами деревьев, и очутились в том самом углу, где слева от изгиба фасада я нашла нежилое, покрытое слоем вечной пыли Тонькино окно – решётка сломана, приямок завален нечистотами, – а справа, все в том же положении, не правей, не левей, не выше, не ниже – вход в его подъезд, лестница, ведущая в квартиру, где когда-то жил-поживал, но давно уже не проживал белокурый юноша с ослепительной улыбкой. Гулявший с собакой мужчина из этой жизни недоверчиво косился на двух незнакомок.

Меня знобило. Мы вышли из двора, миновали милый детский парк «Милютку»; постояли возле особняка, перед которым когда-то по весне розовым и белым цветом расцветали яблони и груши; теперь фруктовых деревьев не было в помине, некогда цельные стёкла

окон особняка расчленили небрежно выполненными переплетами. Прекрасное здание отдано какому-то учреждению. Ещё в детстве я иногда фантазировала: дом наш, сад наш, в высокие торжественные двери входят наши гости, наш колокольчик возвещает об их прибытии...

Повернули направо. Перед поворотом в мой переулок – все то же крайнее окно, из которого, прогоняя страх, лился свет зелёной лампы, всегда напоминавший о несуществующей стране Гонделупе, когда тёмными зимними вечерами я возвращалась домой из музыкальной школы. Напротив церковь, освобождённая наконец от уродливых пристроек, за которыми её и не видно было. Реставрируется – не прошло и ста лет. Вниз с горы, в сохранившиеся – те самые – ворота, в глубину двора. Вот он, мой дом. Такой невысокий. Такой неширокий. Под ногами асфальт вместо земли и торчавших из неё бульбачиков. На двери в мой подъезд – рейки из современной жизни, стены внутри подъезда выложены «кабанчиком».

Мы поднялись до верхнего этажа и остановились перед моей квартирой № 13. Вот перекладка между пролётами лестницы, на которой я и мои гости висели и кувыркались – та самая, ничуть не изменилась. Я смотрела на неё в изумлении от этой *непреходящести*, и отрезок жизни от тех до этих дней показался не длиннее этого «турника». Дверь на чердак была другой – та в нижней своей части имела квадратное отверстие, вырезанное моим папой для кота Мишки, чтобы он мог гулять сам по себе на чердак и обратно...

Вспомнилось: кот Мишка, впервые вывезенный на дачу и шокированный бескрайними просторами, влез на сосну и просидел на ней двое суток. Никакие уговоры, никакие приманки не помогали. На исходе вторых суток на участок зашёл Миша З. и застал нас в полном отчаянии. «Чем могу, помогу», – сказал он и, задрав кверху голову, позвал: «Мишка, Мишка! Тёзка, тёзка!» Кот Мишка вдруг встрепенулся, поменял позу, в которой пробыл часов сорок не шелохнувшись и, напряжённо сверкая жёлтыми глазами, стал потихоньку сползать вниз, дав измученным хозяевам надежду, что всё ещё может окончиться благополучно. Действительно, утром он сидел под крыльцом – живой, невредимый и почти совсем расслабившийся...

Постояв возле квартиры и подробно осмотрев каждую малость, мы спустились вниз и вышли на улицу. Двор был пуст. А как всегда кипел!..

Из ворот направились в Петропавловский переулок, по которому, бывало, в канун Светлого праздника красочной демонстрацией шли старушки в белых платочках, держа в руках украшенные бумажными цветами узелки с куличами и яйцами – каждый год мы наблюдали эту картину из окна большой комнаты. Старушки, давно выселенные на московские окраины, скорее всего, там и окончили свой век вдали от любимого храма...

В церкви Петра и Павла шла праздничная служба. Христос воскрес прошедшей ночью. Народу было немного. Молодая девушка с заплаканными глазами осеняла себя широким крестом...

Вышли из церкви. Тем же рядком – невысокие старые дома. Повернули в Подколокольный переулок, вышли на Яузский бульвар, сели на трамвай и укатили в сегодняшнюю жизнь. Подруга – в свою, я – в свою...

...На днях мне рассказали, что Миша З. скоропостижно умер... Недавно перешагнул сорокалетие...

II

Какой странный год – всё перепуталось: осень была похожа на лето, зима – на осень. Только февраль не рядился в чужие одежды, был холоден и снежен (снег выпал только в феврале). Теперь начало марта, а на улице +15 С...

Не доверившись показаниям Цельсия, я оделась по-зимнему. И сразу разомлела от стоячего тепла, безветрия, какого-то странного межсезонья – непонятно, между чем и чем; снеж-

ные валы по обочинам тротуаров, ещё несколько дней назад мешавшие где попало переходить улицу, поразительно исхудали, а кое-где вообще исчезли. Земля так быстро и так рано оказалась сухой, почти чистой, почти весенней. Чёткие тёмные линии голых веток, будто нарисованные пером поверх городского пейзажа, дополняли картину ранней весны...

Было воскресенье, малоллюдно. Старая Москва, по которой вёз меня троллейбус на свидание со школьной подругой Татьяной, лежала как на ладони, со всеми подробностями старых зданий: излишествами фасадов, прутьями старинных оград, куполами счастливо сохранившихся церквей, изящными линиями зданий в стиле «модерн».

Какая большая и вместе с тем доступная радость, какая увлекательная затея – сесть в троллейбус и через пятнадцать минут очутиться в другом городе, в другом месте земли! Татьяна стояла на означенном месте в лайковом пальто с лисьим воротником, совершенно не соответствующем той жизни, в которую мы собрались с ней отправиться.

Отправились. Пересекли улицу, скосили угол диагональным сквериком с приземистыми заморскими рябинами. Хотели пойти любимым бульваром, но там было ещё очень грязно – бульвары долго просыхают по весне. Вот когда пригодились бы галоши, которые так мучили меня в детстве.

Переулок, ведущий к моему дому, был заполнен баптистами и адвентистами седьмого дня. Церковь на повороте всё ещё реставрировалась. Шли под горку. Пахло мясными щами...

... Порой я предавалась странной фантазии: я прихожу в свой старый дом, звоню в бывшую свою квартиру и прошу хозяев меня впустить, объясняя, что очень хочу побыть хоть несколько минут в тех стенах, где прошли мои лучшие, мои нелепейшие годы; ещё раз ощутить тесноту передней, подивиться, как можно было жить с единственным краном холодной воды – для рук, ног, зубов, белья, посуды; умилиться всем этим неудобствам, от которых так быстро отвыкаешь – ещё быстрее, чем привыкаешь к удобствам... Фантазии... На самом деле я отдавала себе отчёт, что никогда на это не решусь, а потому у меня столько же шансов войти в свою старую квартиру, как, скажем, в реку Нил...

Итак, мы вошли в мой незабвенный двор, обогнули трёхэтажный корпус, и... я остолбенела: дом стоял абсолютно мёртв, абсолютно пуст! Все окна, как одно, отражали одни и те же облака, которых в тот день гуляло по небу множество. Подъезд был, казалось, намертво заколочен прибитой наискось неструганой доской. Однако как раз в этот момент какой-то рабочий, как иллюзионист, с лёгкостью развязывающий мёртвые узлы, открыл дверь парадного – оказалось, что доска приколочена лишь к дверному полотну, для видимости, – и скрылся внутри подъезда.

Я с недоверием потянула за доску, дверь открылась. Мы робко сунули головы в полумрак и увидели там только что вошедшего рабочего, который что-то мастерил возле ведущей в подвал лестницы. Спросив, можно ли подняться, и получив утвердительный ответ, мы стали подниматься. В доме было гораздо холодней, чем на улице, – ледяной, неподвижный, не оттаявший после зимы воздух. Двери всех квартир застыли открытыми настежь. Везде лежали кучи мусора, брошенный хлам. В квартире № 5 посреди комнаты стояла кровать с пружинным матрацем. Где-то теперь её хозяйка, которая однажды сшила мне красивое бежевое платье с красным поясом? На пороге квартиры № 8, где когда-то жили Фомины, валялась на боку табуретка с прорезью для пальцев. Мигом вспомнился смуглый Павлик, который в шестом-седьмом классе неожиданно начал оказывать мне знаки внимания, даже однажды поднёс к электричке мой чемодан, когда я в одиночестве, с опозданием из-за экзаменов в музыкальной школе, отбывала в пионерский лагерь, а потом почему-то вдруг возненавидел и перестал здороваться...

Окружённые могильным холодом и стылой тишиной, мы медленно совершали восхождение. И хотя кошек не было – что им делать в брошенном, нетопленном доме? – их едкий запах был по-прежнему силен, являя живую связь времён (именно этот запах был камнем преткновения при попытках обменять жилплощадь).

На третьем этаже почувствовалось человеческое дыхание, и мы увидели показавшихся в этой ситуации ирреальными мужчину и женщину, рывшихся в куче старья. «Тоже пришли на родное пепелище?» – спросила я, но вразумительного ответа не получила. Тут же бросив своё занятие – быть может, смутились, – персонажи потянулись на четвёртый этаж вместе с нами. На последнем пролёте я напряглась, предчувствуя, что дверь моей квартиры окажется запертой – закон мелкой подлости, имевший некоторую власть над моей судьбой, породил в душе робость и недоверие. Я даже не сразу взглянула в нужную сторону – хотелось немного продлить состояние надежды, – потом решила и... перевела дух: «мое родное пепелище», как и все прочие, стояло нараспашку. В большом волнении я переступила его порог...

Двери комнат, туалета, кладовки были открыты. В туалете стоял очень маленький – детский – унитаз. Шаги, мои и Татьяны, отдавались эхом в пустоте передней, потом – большой комнаты, потом – маленькой, моей. Я жадно рассматривала каждый участок каждой поверхности, на дощатом полу – те же трещины и щели, облупленная краска. Содрала со стены кусок обоев, приготовившись увидеть под ними наши, ковровые, но их там не оказалось – только слой газеты.

В моей комнате валялись две маленькие тувельки – разные, обе с левой ноги, и один носочек. «Как жили, – сказала подруга. – И это считалось хорошо». Вот здесь, слева, стояла моя кровать с шишечками, над которой долгие годы висел коврик с аппликацией, изображавшей трёх бегущих девочек, взявшихся за руки, в разноцветных платицах, шляпках, с корзинками в руках, полными ягод и грибов. Они имели имена, я беседовала с ними, особенно когда болела. Мне страстно хотелось, чтобы они ожили, хотя бы изменили позы...

На стене под окном по-прежнему располагались восемь секций чугунного радиатора, который я когда-то протирала мокрой тряпкой. Дверь, ведущая из маленькой комнаты в соседскую и прежде загороженная книжным шкафом – как будто её вовсе не существовало, – была тоже открыта настежь.

Оцепенело, как во сне, я двигалась обратным ходом. Та же кладовка, та же кухня, та же маленькая раковина – никаких признаков горячей воды. Всё то же. Только я совсем, совсем другая...

Не в силах уйти, я вернулась в большую комнату и посмотрела в окно. Далеко, как и тогда, увидела башни Кремля, перед ними – гостиницу «Россия», которой в те времена еще не было – Зарядье кишело в яме огромной *вороньей* слободкой. Тем же кривым коленом уходил к Язуе переулочек с церковью Петра и Павла. У двери большой комнаты на полу лежала незамеченная мной вначале огромная куча чёрных и белых сухарей, как гора черепов на картине Верещагина... Кто-то *сухари сушил*. Похоже, не понадобились...

– Пойдём, хватит! – решительно прервала сон-явь подруга.

Вышли на лестницу. В соседней квартире всё та же пара вертела в четырёх руках корыто, по-видимому, решая, забирать его или нет. Я спросила:

– Вы жили в этой квартире?

– Я жил в этой квартире. В этой комнате, – сказал он.

– Я жила на третьем этаже, – смущённо сказала она.

Так вот оно что. Жили на разных этажах, а сюда явились вместе перебирать старый хлам. Я спросила мужчину:

– А сколько лет вы жили в этой квартире?

– Пять.

– Вы знали Вернера Ивановича?

– Кого-кого?

– Вернера Ивановича Вернера. У него были жена Анна и дочь Людмила.

– Аа-а-а, Анна... Да, они жили с Людмилой вон в тех комнатах, а муж умер ещё до меня.

– Да, они жили здесь, – с этими словами я вошла в первую из двух смежных комнат квартиры № 14 и увидела... круглый стол. Это был массивный, добротный круглый стол с толстыми ногами, солидными перекрещивающимися перекладинами, со щелью посередине – во время праздников стол «разводили», как мост, и вставляли между половинками доску; тогда из круглого он становился овальным... Видимо, давно не в чести: шершавый, заляпанный штукатуркой, с одного бока свешивается заскорузлая клеёнка...

Я обмерла, потому что узнала... наш стол! Да, да, напрягала я память, мама ведь отдала Вернеру шкаф, диван и стол... Ещё что-то... Я трогала изъеденную временем поверхность, попыталась приподнять гиганта. Угадав ход моих мыслей, сообразительная Татьяна предложила отвезти его ко мне домой. Увы, это было нереально. Мужчина и женщина, замерев, наблюдали сцену моего безумства...

...Вернер Иванович Вернер жил в соседней квартире. Когда мы въехали в этот дом, Вернер, на мой тогдашний взгляд, был уже старый и смешной (думаю, ему было немного за пятьдесят). Меня забавляло, что у него одинаковые имя и фамилия. Он ходил в линялой гимнастёрке, всегда в одних и тех же брюках, с шахматной коробкой под мышкой. Единным духом он взбегал на четвёртый этаж, и грохот шахматных фигурок внутри коробки сопровождал его возбегание.

Я прожила в этом доме девятнадцать лет и ни разу не видела Вернера Ивановича в верхней одежде – во все сезоны он носился без пальто и головного убора. Именно носился: то ли бегал оттого, что не имел одежды и спасался таким образом от холода, то ли ходил раздетым, потому что не знал иных способов передвижения. Его голова была седа, от небольших светло-голубых глаз лучиками расходились морщинки. Только летом, когда становилось очень жарко, Вернер снимал свой «френч» и переходил на летнюю форму – выцветшую шёлковую тенниску. Я усвоила с детства, что он – ОБРУСЕВШИЙ НЕМЕЦ (как у Цветаевой ПАМЯТНИК ПУШКИНУ). Трудно выразить, насколько неуместными были в нашем дворе его интеллигентские манеры и интонации. Когда он пробежал сквозь строй старух, воров-рецидивистов и играющих в пыли немых детей, ему вдогонку летели, как каменья, грубые насмешливые реплики. Он не обращал на них внимания, разве что иногда останавливался и, глядя сквозь похожие на пенсне очки, говорил особо постаравшемуся: «Нехорошо. Некрасиво», что усугубляло *дурацкостъ* его образа.

Нашу семью он «выделял»: папа – инженер, мама – инженерша; у нас было пианино, я ходила с нотной папкой. Поэтому частенько, пробегая мимо по лестнице – я-то плелась обычно еле-еле, – он хорошо поставленным трагическим баритоном напевал какую-нибудь арию. А в другой раз затевал светский разговор, который мне не хотелось поддерживать – с одной стороны, он раздражал меня своей нелепостью, с другой – мне было его жгуче жалко. Я часто видела его на бульварной скамейке играющим с кем-нибудь в шахматы. Кем он был по специальности и работал ли – не знаю, почему-то такой вопрос у меня никогда не возникал.

Когда я училась в пятом-шестом классе, Вернер повадился приходить к нам петь, а меня просил аккомпанировать. Он исполнял «Сомнение», «Элегию» и другие прекрасные романсы. Голос его могуче и театрально дрожал. По-моему, это было пение, близкое к профессиональному. Маме не нравилось вторжение Вернера в наш дом: он отвлекал меня от уроков и вообще не вызывал у неё симпатии. После маминых намёков он стал приходить реже и в её отсутствие. Я сама не очень-то любила эти концерты, но отказать ему у меня не хватало духу. Вернер Иванович жил с двумя немками, тоже обрусевшими – женой и сестрой. Они занимали две комнаты, из которых одна была проходной. В третьей, маленькой, но изолированной комнате этой же квартиры жила тихая семья с двумя детьми.

Я почти не отличала жену Вернера от его сестры: обе были высокие, сухопарые, одна старше и некрасивей, другая моложе и милевидней; обе одинаково приветливо улыбались, не вступая в разговоры, а лишь кивая в знак приветствия головой. Обе ходили в шляпках, с мехо-

выми муфточками. В отличие от Вернера, степенно поднимались на четвёртый этаж и тихо скрывались в квартире. Из жизни ушли почти одновременно – одна на даче от солнечного удара, другая в больнице от болезни. Вернер остался один и совсем почуднел. Седые пёрышки на голове торчали непричёсанными, на щеках извивались красные склеротические червячки. При каждой встрече на лестнице он елеинно улыбался мне, но моя неизменная сухость постепенно подсушила и его манеры в обращении со мной. Лет за пять до нашего выезда из этого дома Вернер женился. Кто-то привёз ему из деревни белотелую, полногрудую, цветущую – кровь с молоком – двадцатисемилетнюю Анну (ему в это время, по неточным подсчётам, было под семьдесят). Так что вместо двух утраченных старых женщин судьба подарила Вернеру одну молодую.

То-то был театр для старух, десятками любознательных глаз провожавших «молодых», когда они шли по двору. Анна ступала важно, не торопясь, не стесняясь взглядов. Вернеру тоже теперь приходилось ходить медленно, что совсем не вязалось с его образом, а также с его лёгкой одеждой. Через год-полтора из большого, круглого живота Анны вылупилась девочка Людмила, и пока она лежала в бывшей до неё в чьём-то употреблении коляске, все успели вволю назлословиться относительно истинного происхождения малютки – не старый же Вернер тому причиной. Но чем старше становилась девочка, тем ясней было, что она как две капли воды похожа на Вернера, а также на его покойных сестру и жену, но только не на Анну. Глядя на малышку Людмилу, перебиравшую тонкими белыми ручками лестничные стойки, я могла дать голову на отсечение, что удлинённое личико с голубыми глазками и белокурые кудри малютки сотворены её престарелым отцом...

Когда началось томительное ожидание переезда в новую квартиру, мама стала избавляться от старой мебели. Я хорошо помню, как широко были открыты двери двух соседствующих квартир, и из одной в другую переселялись вещи...

После нашего переезда ещё в течение нескольких лет до нас доходили слухи о старом чудаке, бегающем по зимнему бульвару без пальто с шахматами под мышкой...

...Вечером того же дня я позвонила маме:

– Мы отдавали Вернеру круглый стол?

Сначала мама ответила утвердительно, но потом вспомнила, что ему отдали шкаф и диван, а стол взяла Зоя Петровна...

Через месяц после этого удивительного визита в выселенный дом мамы не стало. Внезапно, хоть и болела. Через двенадцать лет после скоропостижного ухода папы. Два сильнейших удара, от которых оправиться невозможно. Скоропостижность смерти близкого человека – непостижима. Душа и сердце так до своего конца и существуют неизлеченными. *«О, господи! и это пережить... И сердце на клочки не разорвалось...»*

...Сижу в лучах заходящего апрельского солнца на террасе с каменными балясинами, слежу за радостными мошками, штопающими воздух (так сказал известный писатель). Наверху – освещённые красноватым светом верхушки вечнозелёных елей. Внизу – полчища бурых, сладострастно урчащих лягушек, они заплонили местность, как крысы тот город, из которого их удалось вывести только с помощью музыки. Поют, свистят, тренькают неизвестные мною птички. Это – рай, лучше уже никогда не будет, разве только в настоящем раю...

Вспоминаю родителей. Думали ли они, что их дочь, их единственный ребёнок станет когда-нибудь грустной стареющей дамой? Солнце уходит за крышу, и луч мгновенно обрывается. Сейчас быстро, друг за другом, наступят сначала ранние, потом поздние сумерки. Затем придёт тьма, *набитая* (набивная ткань) звездами, быть может, и луной. Так что это ещё не та абсолютная тьма... То есть, ты хочешь сказать, что ещё не вечер? Не обольщайся, уже вечер...

III

В одно прекрасное воскресное утро, проснувшись, я ощутила в своей душе протест: ни одно из тех дел, ради которых надо было встать, умыться и одеться, мне категорически делать не хотелось. Посему после завтрака, оставив невымытую посуду, пыльную мебель и недоумевающих домочадцев, я решительной поступью вышла из дома.

Люблю этот троллейбусный маршрут: тянется прямо, без единого поворота, вдоль нескольких старых улиц, переходящих одна в другую, которые – вот что поистине удивительно – почти не изменились на моем веку. Моя остановка. Я сразу перешла на другую сторону улицы, со знанием местности срезала угол и пересекла Покровский бульвар там, где бульвара как такового ещё нет. Постояла у арки заветного двора, но внутрь не вошла.

Сегодня меня тянуло в мой двор – с того дня, когда во всех окнах приготовившегося к капитальному ремонту опустевшего дома отражались одни и те же облака, я там не была. Прошло года четыре. Четыре года, вместившие несколько таких сюжетов семейной хроники, которые уважающий себя романист никогда бы не соединил в одном романе, а если бы позволил себе такое, хороший читатель посчитал бы это признаком отсутствия у романиста вкуса и чувства меры. Но всё это было, было в жизни, притом подряд...

Вот ворота (они всё ещё целы!). Впиваясь взглядом в каждую пядь двора, я медленно брела по нему, пока не видя моего дома – как всегда, его заслонял трёхэтажный корпус, который был мёртв: в воскресенье давно расквартировавшиеся в нём учреждения не работали. В положенный момент, качаясь вверх-вниз в такт моих шагов, показалась левая вертикальная грань фасада, только теперь не красного, как раньше, а светло-жёлтого цвета. Сейчас должно показаться моё окно...

Слева на крутопокатоной крыше одноэтажного строения, в котором когда-то жила толстая девочка Ада с толстыми мамой, папой, братьями и сёстрами, сидела ворона и, скользя по склону, рьяно терзала мёрзлый кусок хлеба. В миг, когда пора было уже бросить взгляд на открывавшееся взору моё окно, я отвлеклась на идущего навстречу человека. Короткая дубленка, меховая шапка, усы на бледном, относительно молодом лице, грустный взгляд – таков был моментальный охват взглядом первого встречного «инопланетянина»: этот двор был теперь для меня *иной* планетой. Почти одновременно я посмотрела на фасад и сразу поняла, что дом тёплый, живой, жилой – с занавесками, гардинами, шторами! В квартирах горели «каскады» и прочие светильники – день был мрачным до предела; форточные проемы окон первого этажа, из которых – в другой жизни – высовывалась Лёлька и насмехалась над моими, якобы слишком большими глазами, были затянуты сеткой ядовито-зелёного цвета.

На четвёртом этаже в моём окне горела... ёлка! Точнее, ёлку с земли я увидеть не могла, но абрис, составленный из маленьких цветных огоньков, не оставлял сомнений: первого февраля в моей комнате стояло наряженное новогоднее дерево.

Соскользнув вниз, взгляд ощутил нечто непривычное, в первую секунду не понятное; во вторую – дошло: подвальные окна заложены, сплошной серой цоколь уходит в землю, и только три малюсеньких квадратных зарешёченных отверстия точно соответствуют бывшим трём подвальным окнам, неотъемлемой части былой жизни. Замечает ли кто-нибудь эти маленькие амбразуры, из которых подсматривает чужое, навсегда замурованное прошлое?..

Я открыла аккуратную застеклённую дверь и через тамбур вошла в респектабельность, которой в прежние времена наш подъезд не знал. Никакой лестницы, ведущей в подвал, как и самого подвала, нет в помине. На глухой стене под первым лестничным маршем висит блок почтовых ящиков. Вспомнились те разноцветные и разнофасонные, что висели прямо на дверях квартир, а потом разом и бесследно исчезли. Были же времена – прямо в квартиры доставляли газеты, приносили в бидонах молоко, в мешках – картошку. Горластые точильщики и

стекольщики орали на всю округу, предлагая свои, столь обыденные тогда и столь сложнодо-ступные теперь услуги...

Поднявшись по нескольким ступенькам на площадку первого этажа, я вместо двери в квартиру № 3 увидела толстую бежевую трубу с ковшом – воистину в дом явился мусоропро-вод! Вот как... Значит, теперь не надо ходить на помойку в самый дальний угол двора со свёрт-ком из газеты (полиэтилен ещё не изобрели). Неужто и ванны есть в квартирах? И горячая вода?..

В подъезде стояла тишина. Кошками не пахло. Наконец, четвёртый этаж. Вот моя перекладина. Оказывается, она для всех времен и народов. Номер моей квартиры прежний. На кожаной обивке двери металлическая табличка с каллиграфической надписью «ЛЕВА-ШОВЪ». С твёрдым знаком. Что за люди живут в моей квартире? Почему фамилия с твёрдым знаком? Почему они зажигают ёлку первого февраля, когда все люди забыли о Новом годе?.. Пора возвращаться. На лестнице ни души. И снова двор. Трёхэтажный корпус теперь слева, одноэтажные постройки – справа. Выглядят хоть и убого, но опрятно, как алкоголик, навсегда бросивший пить...

Я оглянулась, чтобы ещё раз взглянуть на своё окно, и тут только заметила, что вдоль грани дома вытянулось худое, длинное дерево, голые ветки которого почти касаются моего окна. А летом-то на дереве листья! И, значит, выглянув из окна во двор, который раньше не знал никакой растительности, можно упереть взор в шелестящую зелёную листву!

Выйдя из ворот, я пересекла переулок, прошла вдоль когда-то серого, а теперь грязно-жёлтого дома, в котором был наш магазин «серый» и в котором жила Тамарка Дмитриева – это ей я сигнализировала пионерским галстуком, что мамы нет дома, а, стало быть, путь открыт (вместо занятий мы читали Джерома К. Джерома и Марка Твена и катались от смеха по полу), – и вошла в магазин. Навстречу, держа в руке незажжённую сигарету, по грязной хлюпающей кашнице, лежащей на метлахской плитке, шёл встреченный мной возле моего (его?) подъезда относительно молодой человек с грустными глазами. Он двигался к выходу из магазина, я в него вошла. Пройдя пару шагов по направлению к гастрономическому отделу, я оглянулась; он, прежде чем исчезнуть из моего поля зрения, оглянулся тоже...

Порадовавшись тому, что церковь Трёх Святителей, что на Кулиш-ках, царит, наконец, на вершине переулка отреставрированная, покрашенная, очищенная от окружавшего её хлама, я уехала домой...

В эту ночь мне, как всем героям всех литературных произведений, приснился сон...

Всю свою жизнь я ни одной минуты не сплю без сновидений. Стоит только «отрубиться» на пять минут на диване или задремать после бессонной ночи в кинотеатре, я тут же вклю-чаюсь в сюжет, не связанный с той явью, из которой только что выбыла. Некоторые сюжеты в течение жизни повторялись более двух раз. Так, когда мне было лет пять, мне приснилось, что я иду за руку с няней Настей и с ужасом наблюдаю, как огромное, тяжёлое, серое небо быстро опускается на землю – гибель в толстом слое мрачной серой массы неминуема. Этот сон повторялся потом раза четыре, только уже без Насти, отчего было ещё страшней.

Или такой сюжет – один из немногих приятных, к тому же цветной: я лечу над нежно-зелёными холмами и долинами, овеваемая душистым ветром, руками и ногами делаю движе-ния, как при плавании брассом. Мне изумительно хорошо, легко, тело наполнено воздухом и не собирается приземляться. Этот сон тоже повторялся несколько раз в разные периоды жизни, с разными вариантами воздушного бассейна – от высокого неба до небольшой, вытянутой, как пенал, комнаты, где я тоже не ходила, а летала над полом. Этот последний вариант был настолько явственен, настолько я ощущала эти движения руками и ногами, это сопротивление воздуха, что, помню, мне некоторое время казалось, будто это было наяву...

Сюжет того сна, который привиделся мне в ночь на второе февраля, тоже не было уникальным. Мне приснилось, что я где-то на курорте медленно, как и положено на отдыхе, бреду тропой над обрывом, под которым тоже есть тропа и тоже происходит курортная жизнь, но, что самое главное, на том, почему-то категорически недоступном, прямо-таки запретном для меня уровне имеется водоём – то ли море, то ли река, и я скорбно смотрю вниз на счастливиц, которые плещутся в прохладной стихии, не понимая своего счастья.

Дело в том, что несколько раз в разных вариантах мне снилось, что какие-то неведомые силы не допускают меня, фанатичку водных процедур, к водному пространству: то прихожу в плавательный бассейн, а там спущена вода; то – в другом бассейне – есть вода, но попасть в него можно только через очень узкий лаз, в который даже страшно просунуть голову; а однажды я с невероятным трудом влезла-таки в какой-то залив, но оказалось, что плавать там невозможно из-за торчащих из воды острых камней. Спрашивается, почему во сне на мою долю выпадают такие препоны, когда наяву в чём-чём, но в возможностях плавать и купаться я совершенно не ограничена (тьфу, тьфу, тьфу)? Как это понимать? Наверное, иносказательно...

...Итак, безмерно огорчённая невозможностью спуститься поближе к воде, я пересекла границу, отделяющую сон от яви, и очутилась в собственной постели в мрачном расположении духа. Правда, проснувшись окончательно, почувствовала облегчение: во-первых, это не самый страшный сон, во-вторых, то всего лишь сон. К тому же надо было срочно вставать и идти в бассейн...

IV

Вялое зимнее воскресное утро. Солнце как будто не вышло на работу – заболело; похоже, день как таковой сегодня вовсе не состоится – утренние сумерки плавно перетекут в вечерние, и всё сольётся в одну непродуктивную единицу времени.

Человек средних лет подходит к отрывному календарю и срывает вчерашний листок. «Оказывается, сегодня уже первое февраля, а я ещё ёлку не разобрал», – он зажигает на ёлке лампочки, что оказывается вполне уместным в этот обделённый светом день.

На письменном столе со вчерашнего дня разложены рабочие бумаги, но работать не хочется – пожалуй, сегодня лучше заняться тупыми хозяйственными делами. Сказывается чересчур напряжённая неделя. Он обходит стоящую на тумбочке ёлку и смотрит в окно, выходящее во двор. Узкое деревцо, доросшее как раз до его окна, выглядит сейчас голо и хило, лишь кое-где шевелятся линялые кисточки прошлогодних соцветий; летом же неказистое дерево создает иллюзию шумящего за окном леса – это такая удача, что самое высокое во дворе дерево «приписано» к его окну.

Двор пуст. В будние дни оживлённой: приезжают-уезжают машины, приходят-уходят люди – служащие контор, что занимают все строения двора, кроме его корпуса. В обеденное время по двору снуют стайки хозяйственных женщин с набитыми сумками. Впрочем, будничную жизнь двора ему довелось наблюдать всего раза три: когда переезжал, когда болел и когда дома писал отчёт... По воскресеньям и праздникам двор и прилегающие переулки вымирают...

Он отворачивается от окна, задевая ёлочную ветку, с которой разом, как по команде, осыпаются на пол все до единой иголки. Из окна другой комнаты открывается вид на квартал старой Москвы – дом «утюгом», от которого влево и вправо убегают кривые переулки. Далеко направо виден купол Ивана Великого, но только в ясную погоду.

Истекает первый год его жизни в этой квартире – вселился в этот старый кирпичный, без балконов, без лифта, с узкой лестницей дом, после его капитального ремонта. Квартирки в доме небольшие, потолки по современным понятиям высокие; горячая вода, голубая ванна...

Квартиру можно обойти вкруговую: из передней в комнату, из неё в другую, из другой в кухню, из кухни снова в переднюю. Можно обратным ходом. В одной из комнат два окна,

что всегда приятно. Не иначе как в результате перекроя старой планировки – такая роскошь. Одним словом, славная квартирка. Вот только маме тяжело подниматься на четвёртый этаж. Но она пока поживёт у сестры в Коломне, ей там веселей...

Странная тишина во дворе. Детей мало, на лавочке никто не сидит. Взгляд возвращается в комнату и замечает, что во впадинах отопительных батарей скопилась пыль. Человек присаживается на корточки, выдувает черноту из щелей, потом протирает расщелины тряпкой...

Напротив окна висит зеркало в старинной раме, доставшееся ему от деда. Только это наследие да книги взял у бывшей жены после развода.

«Надо Катьке позвонить», – вспоминает о дочери, но тут же откладывает звонок на попозже; такой уж сегодня день – не хочется никаких, даже самых маломальских неприятностей: сейчас о н а снова найдёт повод, чтобы не отпустить к нему дочь.

«Пожалуй, разберу ёлку. – Он, наконец, находит себе дело, но тут же и его отвергает. – Нет, если Катька сегодня приедет, пусть позабавится. Повешу что-нибудь новенькое на ёлку, будет срезать и хлопать в ладоши».

Тут он замечает в зеркале самого себя – лицо бледное, взгляд погасший, человек как в воду опущенный. Впрочем, судить о том, как ты выглядишь, глядя хмурым воскресным утром на своё отражение, неверно – всё может в один миг перемениться: разговаривающие, смеющиеся, оживленные общением, мы выгядим иначе...

Человек заходит в ванную и пускает воду. И здесь сегодня плохой напор – вода льётся еле-еле. Потом он выходит в кухню, открывает шкафчик и обнаруживает, что последняя сигарета сломана. «Как не хочется выходить», – думает, надевая в передней шубу и шапку. Запирает дверь, машинально глядя на оставшуюся от деда табличку с твердым знаком в конце фамилии, спускается по лестнице и в который раз ловит себя на подростковом желании повисеть на «турнике» – металлической перекладине, скрепляющей соседствующие лестничные марши.

Температура воздуха не больше и не меньше нуля градусов по Цельсию. Всё сегодня на нуле. Под ногами сыро и скользко. Во дворе – никого. На подходе к трёхэтажному корпусу он видит идущую навстречу немолодую даму в рыжем меховом жакете и скользит мимолетным взглядом по её лицу: печальный взгляд, мешки под глазами. В следующий момент его внимание привлекает ворона на крыше одноэтажной постройки, шумно пытающаяся расклевать кусок замёрзшего хлеба.

Через ворота – древность, непонятно какими судьбами сохранившуюся, – человек выходит из двора в переулок, пересекает его, огибает монументальное жёлтое здание и входит в продовольственный магазин, покупает пачку сигарет, половинку чёрного хлеба, несколько небольших шоколадок, с нетерпением вынимает сигарету, но не закуривает, а направляется к выходу. В магазин входит дама в рыжем мехе, которую он только что встретил во дворе, у своего подъезда. Странно... Почему так быстро – шла ведь к кому-то... не застала?.. Оглядывается и видит, что дама оглянулась тоже...

Человек рассматривает постройки на противоположной стороне улицы. Скромные, невысокие старые здания, вроде бы неказистые, а приглядеться – изящные фасады, украшенные милыми подробностями. Излишества далеко не всегда бывают лишними...

С тех пор как он живёт в этой квартире, промежуток времени от пятницы до понедельника кажется протяженней, чем раньше. Как же повезло ему с районом, он не устаёт удивляться – могло ведь всё кончиться «бритым» панельным домом в Медведкове. Какой сегодня тяжёлый, сырой день. Что же всё-таки было раньше в этих одноэтажных со двора, двухэтажных с переулка строениях? Во дворе снова пусто. Форточки первого этажа затянуты сеткой ядовитого цвета. Глухая кирпичная кладка нижней части дома выросла в сырой снег...

Он поднимается по лестнице. Нашупывает в кармане ключи, бросает скомканные бумажки в мусоропровод. Отпирает дверь, и – о ужас – вода... Бросается в ванную... Фу, слава провидению, вода дошла до краёв, но не перелилась, ещё бы немного... Ворчливая соседка с

третьего этажа не сказала бы спасибо... Забыл, голова садовая... Закрывает кран, сливает часть воды, раздевается, садится в ванну. Взгляд привычно упирается в затёк на потолке, похожий на профиль стоящего на задних лапах медведя без ушей. «Катка уже ездит одна по Москве. А недавно лежала свёрточком в коляске... Надо позвонить. Сейчас позвоню...»

К вечеру, повесив на ёлку обмотанные серебряными нитями ёлочного дождя шоколадки, заткнув в шкаф раскиданные по стульям вещи и сварив замороженную 21 курицу вместе с потрохами (вовремя не разморозил), молодой человек ложится на тахту в ожидании юной гостьи. В памяти, по непонятной ассоциации, всплывает один эпизод...

Года три назад, весной, приятель попросил его помочь в каких-то работах на садовом участке. Когда они вытаскивали из дома зимовавшую в помещении бочку, бдительно глядя под ноги, чтобы не свалиться с крыльца, с соседнего участка донёсся возглас: «Журавли!» Оба задрали головы, поспешно снесли бочку на землю и, закрываясь руками от непривычно яркого после зимы солнца, уставились в небо.

Там, в вопиющей синеве, летела стая огромных – по сравнению с воробьями, голубями и воронами, к которым привык городской человек – птиц. Летели идеальным клином, одна сторона которого была осмысленно длиннее другой. Был ровен и торжественен их полет. С соседнего участка пахло дымом костра, на котором сжигали прошлогодний мусор...

...Задремал. Он открывает глаза и в тёмном незашторенном окне видит отражение пятирожковой люстры и её отражение в зеркале. Отражение отражения... Почему он вспомнил журавлей? Ах, да. На работе кто-то сказал, что ожидается ранняя весна.

Он встаёт и подходит к полке, перебирает книжные корешки, находит маленькую книжку в мягком бело-розовом переплёте с большой вензелевой буквой «р», с которой начинается заглавие, листает книгу и наконец находит нужное место: «*А журавли плыли, купаясь в голубизне неба, плыли не спеша, кружась на плавно колышущихся крыльях, перекликаясь то сдержанно, то многогласно, все разом, и снова в их рядах наступало спокойствие. В прозрачности того дня были хорошо видны их точеные вытянутые шеи, и тонкие клювы, и полуприжатые к телу ноги у одних и плотно прижатые у других...*» Перевернув страницу назад, читает: «*Ранние журавли – хорошая примета*». Задумывается, вспоминает...

Нет, значит, в тот злополучный год они не были ранними...

V

Вот уже и март кончается. Оседают грязные снега. Из-под грязных снегов вытекают грязные вешние воды. Грязные вешние воды попадают под колёса машин. Машины обдают грязью с ног до головы бесправную человеческую фигурку, забравшуюся на холмик сложенного у обочины просевшего грязного снега, чтобы спастись от грязных вешних вод. Фигурка переживает поток машин с риском опоздать на работу в научно-исследовательский институт, где не надо хватать с неба звёзд, где хороший работник ничем не отличается от плохого, а хорошая работа – от плохой...

Кто-то на днях сказал, что грачи прилетели. А когда прилетают журавли? Вдруг человек призадумывается: а видел ли он когда-нибудь журавля в небе? Раз не помнит, значит, не видел? И синицу в руке не держал? На каком же основании всю жизнь считает, что одно предпочитает другому?..

Ничего человек не знает. Знает только, что скоро весна – тёплый ветер, запах оттаявшей земли, клейкие светло-зелёные свертки на ветках, переполненное голубизной небо – и что придёт она в первую очередь на любимый бульвар, а потом уже на всю остальную планету.

Часть третья

Счастлив, кто посетил или, С новым тысячелетием

«Умирать не хочется... Старость – лучшее время жизни. Живи себе да живи...»

Ф. Сологуб. *«Творимая легенда»*

I

В двухместное купе, пахнущее мягкой мебелью и дальней дорогой, вошла миниатюрная блондинка и со знанием дела нажала кнопку правого дивана, который тут же плавно и бесшумно приоткрыл свой зев, поглотив дорожную сумку, после чего так же плавно и бесшумно закрылся, предлагая для уютного сиденья бархатную поверхность тёмно-вишнёвого цвета. Сняв куртку и повесив её на вешалку, женщина взглянула на часы, потом села и посмотрела в окно. На платформе, протянув взгляды к отъезжающим, стояли люди. Её никто не провожал, что избавляло от неловкости последних мгновений, вымученной улыбки, которую надлежит растягивать до того момента, пока шагающий или, чего доброго, бегущий рядом с отходящим поездом провожающий перестанет быть видимым. Блондинка приоткрыла окно; оно легко скользнуло вниз, и шёлковая струя осеннего воздуха влилась в купе, опустилась на букет стоявших на столике жёлтых астр. Втянув в себя воздух, женщина уловила неизвестно откуда взявшийся и неизвестно почему вспомнившийся аромат давно почившего в бозе угольного отопления.

До отхода поезда оставалось менее четверти часа, а второе место всё ещё пустовало. Вежливый голос настоятельно просил провожающих покинуть вагоны, когда в купе влетел запыхавшийся юноша, спешно поздоровался, бросил на левый диван саквояж и тут же вылетел, чмокнув кого-то в дверях, после этого в купе появилась запыхавшаяся, прехорошенькая молодая особа.

– Здравствуйте... чудом не опоздала... все перепутала...

Она села, стараясь перевести дыхание. Тут раздался мелодичный удар колокола, возвестивший об отходе поезда; разноцветная плитка платформы чуть дрогнула, поехала вправо, сначала медленно, потом быстрее, а потом и вовсе скрылась из глаз вместе с милым Ромео (так про себя окрестила блондинка провожатого попутчицы). И вот уже бесконечные нити рельсов, брызгая солнечным отражением, тянутся рядом с их поездом; на секунду мелькает новая гостиница с покатыми крышами, собирающими солнечную энергию, вагон делает что-то вроде небольшого взлёта и оказывается в стеклянной гильзе, по которой ему предстоит мчаться без остановок до Берлина, а затем и дальше.

– Вы в Берлин?

– Нет, в Париж. А вы?

– В Берлин.

Блондинка вынимает из сумки и ставит на столик металлическую банку с соком, кладёт пакетик с карамелью, несколько яблок. Снимает туфли, достает тапочки.

– В Париже сейчас замечательная погода – как летом. Моя подруга только что оттуда вернулась. Надеюсь, в Берлине такая же.

– Это радует...

– Как вас зовут?

– Катя. А вас?

– Людмила Вернеровна. Можно просто – Людмила. Хотите пить?

Катя кивнула в знак согласия. Взяв банку с соком, Людмила Вернеровна опустила её под столик, на что-то нажала, и банка оказалась продырявленной в двух местах.

- Какой красивый мальчик вас провожал...
- Это мой брат... по отцу.
- Красивый юноша, ну просто Ромео.
- Он ещё ребёнок, ему только четырнадцать.
- Да вам, наверно, немногим больше?
- Многим – мне двадцать девять.
- Никогда бы не подумала. А в Париж по делам?
- Нет, в отпуск. А вы в Берлин по работе?
- На конгресс.
- В какой области?
- Медиков. Но я переводчица. Еду с опозданием, так вышло...

В купе зашёл вежливый проводник, присел, проверил билеты; распушил букет, пожелал пассажирам приятного пути.

Облокотившись на столик, Людмила любовалась какофонией красок, в которую, как на палитре, смешались небо, леса, поля, оранжевое солнце и прочие субстанции мира, не различимые за матовым стеклом туннеля, по которому мчался поезд. Тревога снова охватила её – как мама справится? Хоть старушка и уверяла, что всё будет в порядке, всё же... Как нескладно вышло. Надо же, чтоб всё совпало: дети на практике, Виктор в командировке, сватья в больнице. Один сват. Что он может? Целый день на работе, потом в больницу... Обещал подстраховать. Главное – ночь, по ночам у мамы иногда ноги сводит. Но где там переночевать – в однокомнатной квартире с маленькой кухней? Нескладно... Профессор с мировым именем будет валяться на раскладушке...

Катерина, откинувшись на мягкую спинку дивана, закрыла глаза и погрузилась в свои, тоже не очень-то весёлые мысли. Получается, что печального в жизни больше, чем радостного... Как с этим быть?..

Людмила заметила, что дремлющая напротив девушка мотает головой, как будто что-то отвергает.

- Вы художница? – Вопрос прозвучал неожиданно, и девушка, открыв глаза, улыбнулась.
- Почему вы так решили?
- Мне кажется, что вы должны иметь отношение к искусству.
- Нет, совсем напротив. Я экономист.
- Не скучно?
- Ну, во-первых, я пошла по стопам отца, он у меня известный человек в этой области.

Во-вторых, у меня нет семьи, а потому есть время всем на свете интересоваться, в том числе искусством.

- Не трудно быть экономистом?
- Да нет. Уже есть некоторый опыт.
- А Ромео тоже готовит себя в экономисты?
- Кирюшка? Нет, что вы. Он учится в специализированном колледже на реставратора.

С детства влюблён в старинную архитектуру. Наверное, потому, что родился и растёт среди старых особняков и палат, где гуляла его мама, когда была им беременна.

- Где же это? В Москве?
- Конечно. Старая Москва. Хитров переулок знаете?

Людмила как-то запнулась, заморгала, задумалась.

- А где это? Не в районе Солянки?
- Да, ближе к бульварному кольцу.

– Ничего себе... Да я не только знаю, я тоже родилась в этом районе, выросла там, отца похоронила, замуж вышла и сына родила, а уж после выехали – дом поставили на капитальный ремонт. Но переулочка с таким названием вроде бы не было. Хитров рынок был когда-то, это все знают, а переулок...

– Он раньше назывался по-другому. Отец там живёт лет шестнадцать.

– Подождите, уж это не мой ли переулок называется теперь Хитровым? Объясните, где это.

Катерина, чертя по столу невидимые линии, объяснила попутчице, где находится переулок. Людмила молчала. На белокожем лице выступили красные пятна.

– В каком подъезде живёт ваш отец?

– В первом.

– Ну, не в четырнадцатой же квартире? – уже вскрикнула, воздев руки, Людмила Вернеровна.

– В тринадцатой, – с недоумением ответила Катерина.

Воцарилось молчание. Женщины смотрели друг на друга.

– А вы не там живёте?

– Нет. Папа получил эту квартиру после того, как разошёлся с мамой, а я живу с мамой в Чертанове.

– Ну, слава богу... Давайте только не будем сейчас причитать, как тесен этот мир... Не будем?

– Нет. Тем более что он не так уж и тесен...

И они принялись взахлёб рассказывать друг другу про дом и двор: одна про шпану, голубятников, рецидивистов, тесные коммуналки без горячей воды, кошачьи свадьбы; другая – про тишину, чистоту, хорошо отделанные квартиры со всеми удобствами, особую атмосферу старого района.

– А ведь тогда еще не было новой Москвы – только старая; было всего-то несколько районов – Арбат, Сокольники, Чистые пруды, Измайлово... Ну ещё Преображенка, Мещанские. Вот и сват мой жил на Покровке, в старом доме, и часто рассказывает, как старший брат водил его в гости к своей подружке, которая жила в подвале того же дома, и сват, тогда шестилетний малыш, заворожённо следил за ногами идущих мимо подвального окна людей: вроде бы он на земле, а они летают. Вы, небось, жилых подвалов уже не застали... Я-то помню... Да... Вот это неожиданность. В тринадцатой квартире жила моя подруга Светка, мы с ней в одном классе учились. И даже знаю, кто до них жил в этой квартире – «инженер» с «инженершей» и с дочерью, мой отец ходил к ним петь, ему их дочь аккомпанировала. Но это было ещё до моего рождения...

– Знаете, что я придумала? Давайте обменяемся телефонами, и мы с вами сходим к моему отцу, вам будет интересно.

– Спасибо, с удовольствием...

Так в интересных разговорах незаметно пробежали шесть часов пути, и вот уже поезд замедлил ход, выполз из *гильзы* и подъехал к вокзалу. За окном ярко горели фонари и шесть огромных букв: BERLIN. Катерина видела в окно, как к Людмиле Вернеровне подошел высокий человек, взял её поклажу, и они скрылись в туннеле. Катерина задремала и не слышала, как поезд двинулся дальше...

II

В то время как парижанка Франсуаза шла нехоженными тропами Непала, встречала там фантастические рассветы, провожала не менее фантастические закаты, штурмовала Эверест, беседовала со снежным человеком Йети, бродила по лавочкам Катманду, фотографировала

буддийские храмы и прочее, прочее, прочее, о чём, не будучи там, догадаться невозможно, в ее парижской квартире под фосфоресцирующими звёздами, кометами и планетами, наклеенными на потолок рукой романтической хозяйки, на полу, на поролоновом лежаке, в каком-то странном невесомом состоянии засыпала её русская подруга. Небольшая, уютная, полная милых мелочей, квартирка заморозила гостью звенящими от малейшего движения воздуха подвесками, готовыми в любой миг запищать, заговорить, заулыбаться куколками, картинами и картинками, фотографиями, ковриками, салфетками, шариками, матрёшками...

Катерина прибыла вечером, с вокзала ехала на такси нарядами парижскими улицами, плохо соображая с дороги, где и почему находится. Взяла в условленной квартире ключи и вошла во Франсуазино гнёздышко. Выпив кофе, надолго погрузилась в кресло. Так до полуночи и просидела у окна с французским балкончиком, то и дело бросая машинальный взгляд в два окна дома напротив, за которыми серьёзный молодой человек в очках сидел за столом, решая, по-видимому, мировые проблемы, лишь иногда поднимаясь со стула, чтобы подойти к книжной полке.

«Я в Париже, я в Париже... Наконец-то я в Париже». Перебирала журналы, которыми был завален письменный стол, рассматривала безделушки, потом все-таки легла под звёздным потолком, справедливо решив, что утро вечера мудренее.

Когда наступило светлое, пахнущее чужими запахами, уже не слишком раннее парижское утро, Катерина, позавтракав йогуртом, сыром и колбасой, оставленными для неё в холодильнике Франсуазой, спустилась по деревянной винтовой лестнице, пропитанной очень острым, не то химическим, не то парфюмерным запахом, и вышла из подъезда в переулок. Два чернокожих человека в комбинезонах салатного цвета засасывали в огромный зев мусороуборочной машины разбросанный по переулку мусор: скомканные пакеты, банановую кожуру, собачьи кучки, использованные билеты, яркую и красивую, как цветы, обёрточную бумагу. Несмотря на большое количество валяющихся отходов, переулок благоухал, как магазин ТЭЖЭ (бабушка говорила, что в Москве когда-то так назывались парфюмерные магазины).

Разглядывая магазины, дома и людей, Катерина добрела до станции метро. На верхней ступени ведущей вниз лестницы дремала собака типа немецкой овчарки, положив морду на вытянутые лапы. Почувствовав взгляд, она подняла глаза, которые неожиданно оказались небесно-голубого цвета.

Итак, она в Париже. Катерина даже ущипнула себя, *но кожа не прощипывалась*. Вокруг стоял весёлый гул. Люди улыбались, всё играло яркими красками, как будто это был не обычный будний день, а яркий, весёлый праздник.

Спустившись под землю, девушка опрометчиво остановилась у лотка с бижутерией – чего там только не было! Латиноамериканец с белоснежными зубами что-то быстро говорил, поднося к ушам Катерины всевозможные подвески. Пришлось какие-то висюльки купить, чтобы не обижать ревнителя красоты. У огромной негритянки с миллионом забранных в хвост мелких косичек Катерина приобрела проездной билет в вагон второго класса и, оснащённая схемой метрополитена, картой Парижа и путеводителем на русском языке, заботливо заготовленными для неё Франсуазой, вошла в вагон парижского метро. Внимательно читала на остановках названия станций, на «Champs Elise,s» выскочила из вагона и вышла на улицу.

Над Парижем уже сгустились сумерки. Знаменитая улица зажигала огни, сверкала, переливалась, расточала улыбки и ароматы, кишела сотнями гладких женских ног. Двери кафе, ресторанов и забегаловок были открыты настежь, у каждой стоял зазывала, с которым – Катерина поняла это сразу – не стоило встречаться взглядом: затынет, как пылесос песчинку. Люди сидели за столиками, стоявшими повсюду на улице – погода была на редкость тёплая для этого времени года.

За стеклянной стеной одного из ресторанов трапезничал одинокий месть с белой салфеткой на груди, жёстко подпиравшей подбородок. Этот явно не был втянут «случайно»: мед-

ленно, сладострастно, священнодействуя, посетитель уничтожал устриц, которые огромной горой, усыпанной бриллиантами мелких льдинок, лежали перед ним на блюде. Катерина с любопытством наблюдала ритуал – не только сама никогда этих моллюсков не употребляла, но и не видела, как это делают другие, – месье сжимал правой рукой лимон, обдавая очередную жертву убийственными каплями сока, после чего отправлял нежное, съёжившееся в предсмертной судороге тельце себе на язык.

Сверяя свой маршрут с картой, Катерина дошла до Триумфальной арки, рассмотрела освещённые прожекторами фризы и скульптуры, затем побрела в обратном направлении. Станции метро встречались на каждом шагу – удивительно короткие пролеты по сравнению с Москвой.

Вдруг Катерине пришло на ум зайти в кинотеатр – отдохнуть. В разных залах шли разные фильмы. Она выбрала тот, который начинался через десять минут. Купив билет и горстку горячих каштанов, она вошла в небольшой и узкий, как пенал, зал. Уселась поближе к выходу. Погас верхний свет, а на полу зажглась гирлянда красных лампочек – ориентир для опоздавших. Фильм был немудреный: про войну и мир, любовь и измену, всё это относилось к древним временам, то есть было старо как мир, а потому особого сосредоточения, равно как и знания языка, не требовало. Катерина просто отдыхала, жевала остывшие каштаны, собирая в ладонь шелуху, а когда зажётся свет, её поразило количество оставленного на полу и сиденьях мусора. Всё стало ясно, когда через служебную дверь в ещё не окончательно опустевший зал вошел уборщик с пылесосом, чтобы к следующему сеансу обеспечить полную чистоту. Надписи «Соблюдайте чистоту» нигде не было.

Давно и долго мечтала Катерина побывать в Париже. Оказавшись в городе своей мечты, она бродила, как во сне, но что-то мешало расслабиться, прильнуть к живой, плотной стати уникального города.

В воскресенье Катерина отправилась на Монмартр. Бродила меж художников, картин, иноязычного люда всевозможных рас и национальностей. Устала и, решив, что это довольно скучно и похоже на все уличные вернисажи мира, собралась выбраться из толпы и свернуть на какую-нибудь безлюдную улочку, как вдруг услышала громкую русскую речь. Толстый, красный и хмельной художник – эдакий Иванушка-дурачок – распинался на весь Монмартр: «Я – коммерческий художник, мне посмертная слава не нужна, я хочу при жизни хорошо жить!» Всё это он выкрикивал в лицо стоявшего рядом забулдыги, кивавшего головой в знак согласия и ожидавшего, по-видимому, благодарности от художника за свою с ним солидарность. Картины «дурачка», как ни странно, были неплохи, и Катерина, которая ещё ни разу в Париже ни с кем не разговаривала, подошла и спросила: «Ну и как, продаётся?» «Иванушка» оказался занудой, принялся подробно отвечать на вопрос, так что Катерина начала постепенно пятиться, чтобы скрыться от словоохотливого соотечественника. Однако это оказалось не так-то легко – художник схватил девушку за руку, кричал, что всё здесь х. ня, кроме его гениальных картин. Катерина согласно покивала головой и, пообещав, что через пять минут вернётся, затерялась в толпе.

В этот момент ударили, как безумные, колокола базилики Сакре-Кер, зазвонили разновысокими голосами. Всё невольно замерло, прекратились разговоры. Два высоких молодых негра, до этого внимательно разглядывавшие натюрморты, выпрямили стройные станы, подняли вверх голубые белки. Белая кудрявая собачка почему-то встала на задние лапки, махая одной из передних. Что связалось в её голове с этим звуком? Катерине показалось, что она плывёт, качается на волнах божественного звона... Когда колокола умолкли, всё снова задвигалось, закопошилось...

Через несколько дней в роскошную парижскую осень вкрался дождь – именно вкрался, потому что сначала закапал вяло и бесшумно, оставляя воздух тёплым и томным, потом усилился и наконец разразилась отчаянная гроза, заставшая Катерину в центре Помпиду, в стек-

лянном кожухе эскалатора, который в сей грозный миг напоминал подводную лодку, ныряющую в бешено ревущие, сверкающие воды. Дождь был таким сильным, что в метро, куда Катерина попала через полчаса после завершения ливня, в узком пространстве между оконными стёклами, как в экзотическом аквариуме, плескалась, извиваясь змеевидной линией поверхности, дождевая вода. В торце вагона бойкая низкорослая девушка с темноватой кожей, спрятавшись за натянутую между стойками вагона ширму и надев на руку резиновую куклу, давала пассажирам представление.

По всей видимости, кукла изображала какого-то политического деятеля – «оратор» произносил речь, кривляясь и гримасничая, жестикулировал, двигал носом и ртом, выкрикивал лозунги. Пассажиры аплодировали, улыбались, иногда громко хохотали. Окончив речь, «оратор» провалился за кулисы, а девушка, деловито сложив ширму и сунув её в сумку, вынула оттуда примятую чёрную шляпу и пошла с ней по вагону, приговаривая: «merci, madam, merci, monsieur».

В понедельник последней парижской недели к Катерине в русском книжном магазине обратилась милovidная блондинка с карими глазами. Выяснив, что обе немного говорят по-английски, дамы отправились в русское кафе, изобилующее матрёшками, хохломскими и гжельскими изделиями, вышитыми салфетками, полотенцами с мережками и пр. Долго беседовали за чашкой кофе. Оказалось, что муж милой madam происходил из семьи первых русских эмигрантов. На следующий день мадам пригласила Катерину в гости, закатала пир a la ruse со щами и водкой. Супруг-дантист держался очень мило, тщательно проговаривал русские слова, интересовался русской литературой.

Теперь парижское одиночество Катерины кончилось: мадам звонила и консультировала по вопросам прогулок, дантист предложил съездить в выходной день куда-нибудь на машине, но у Катерины уже не было выходных – в пятницу уезжала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.